



ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА

Д







ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ

**МОРОЗОВСКАЯ
СТАЧКА**

Историческая повесть

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р2
Б30



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

Рисунки И. Незнайкина

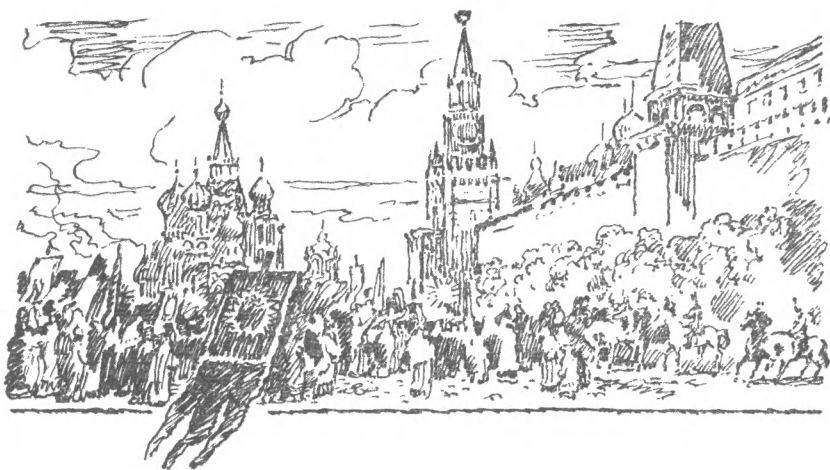
Бахревский В. А.

Б30 Морозовская стачка: Историческая повесть/
Рис. И. Незнайкина.— 2-е изд.— М.: Дет. лит.,
1979.— 192 с., ил.
В пер.: 50 к.

Повесть о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году в городе Орехове-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеевко и Василия Волкова.

70803—065
Б 70803—065 326—79
М101(03)79

Р2



КОРОНАЦИЯ

I

Крандаш-бревно, с тупым синим рыльцем, зажатый мясистыми, короткими, страшно сильными пальцами, властно уставился в бумагу, готовый перечеркнуть, перетрясти, расшвырять весь ее чиновнически ясный бисер букв и строк. И вдруг задрожал. Незаточенный конец стал перевешивать, перевесил, и тяжелое синюшное рыльце грифеля уставилось в потолок высочайше непроницаемо.

Великая Россия по плечи влезла в трясину долгов. Прошлогодний заем у германских банков не помог, новый — обещал тяжкую и беспросветную зависимость от Германии, которую владелец синего карандаша любовью не жаловал.

Левая решительная рука отложила чересчур важную бумагу и принесла под синий карандаш другую, из другой стопки. Хотелось хоть немного отвлечься от неприятностей.

Товарищ министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново ходатайствовал за некую нигилистку Н. К. Сигиду. Отбывая наказание на Кариийской каторге, эта особа оскорбила офицера, и синий карандаш, определяя наказание, начертал на этом деле два слова: «Выпороть ее». И вот товарищ министра соизволил вернуть дело с объяснениями.

Нигилистка, дескать, образованна, заточение, дескать, по-

действовало на ее нервную систему, и было бы милостиво свети наказание до минимума.

Кровь, вскипая, ударила в голову. Владелец синего карандаша — император Александр III знал, что его ждет за этим взрывом негодования: постоянное, незабвенное, никакой мести не смываемое видение.

Отец старик... старый человек в мундире на полу... на кровавом полу и сам весь... Без ног, без лица... И дикий вопрос врача Боткина, первая задача новому самодержцу:

— Не прикажете ли, ваше высочество, продлить на час жизнь его величества?

Вот с чего пришлось начинать царствие, господи нигилисты! Он помнил свой голос, холодный и внятный. Он приказал тогда вынуть из-под спины отца подушки. И отец сразу отмутился.

Александр Александрович плотно закрыл глаза и досмотрел эту свою пожизненную картину до конца, до последнего кровавого пузыря, лопнувшего на губах убиенного императора Александра II.

Когда картина была досмотрена, Александр Александрович разлепил ресницы и, не поднимая век, наложил на бумаге Дурново синюю резолюцию: «Дать ей сто розог».

Судьба нигилистки была предreshена, ей грозила беспощадная постыдная расправа, которую не пережить, и она ее не переживет, но Александр III уже не только вычеркнул из памяти фамилию Сигида, он твердо забыл все это дело, ибо надлежало вернуться к вопросу государственной важности — к финансовым болезням империи, к задачам, от удачного решения которых зависело настоящее и будущее России.

Отец хотел быть государем и добрым и великим, но все его великое обернулось мерзостями, а доброта без виселицы не обошлась. Довольных в его царствие не было: крестьяне оголодали, дворяне пообносились. Армия — самая жалкая, промышленность — никакая, финансовое положение в таком упадке, что всерьез думали объявить Россию финансовым банкротом. Государство — банкрот. Великая Россия.

Шестьсот пятьдесят миллионов ежегодного дохода постоянно перекрывал семисотмиллионный расход.

Снова бумага о новом займе у германских банков лежала перед государем.

Отец души не чаял в немцах. Во время их войны с французами он жаловал пруссакам Георгиевские кресты, а импера-

тор Вильгельм удостоился Георгия первой степени. За кампанию 1812 года один Кутузов был награжден этим высочайшим военным русским орденом.

Государь заметил, что мысли витают, и усмехнулся: с каких это пор осторожность и медлительность поселились в нем? В цесаревичах сплеча рубил.

— А почему мы позволяем грабить нас германским банкам? Можно бы и у французов под такие-то проценты занять... Впрочем, французские деньги у Ротшильда, еврея...

Александр III поморщился. Евреев он тоже не терпел. Это была наследственная нелюбовь. Когда старший брат Николай умирал в Ницце, врачи предложили пригласить к больному профессора Траубе, тайного советника, и мать ответила врачам:

«Наследник цесаревич не может принять его услуг».

Она не объяснила причины, но причина была одна — тайный советник принадлежал к нации евреев.

— Дьявольщина! — Государь крикнул проклятие вслух и, обрывая воспоминания, дважды перечитал бумагу и подписал ее.

Теперь следовало бы заняться чтением годовых губернаторских отчетов, но побаливала голова, хотелось подвигаться, и Александр III уступил-таки Александру Александровичу Романову, и они оба покинули кабинет и направились в комнаты царицы.

Александр Александрович не любил Зимний дворец. Музей, а не дом для жилья. Человек в таких залах мельчает, и чтобы чувствовать себя самодержцем приходится наигрывать. Форсированный голос, заученные жесты — театр, а не государственная деятельность.

Поэтому-то Александр Александрович подолгу жил в своем старом Аничковом дворце, загромождавая личные свои апартаменты массивной дорогой мебелью. Воздух в его кабинете, который служил ему спальней, был всегда несвеж, кругом тесно от шкафов, кресел, диванов, но слуга, осмелившийся навести порядок в этих комнатах, получил высочайший нагоняй. Александр Александрович боялся пространства.

Государь, однако, понимал: любовь к тесноте — это его личное дело. А потому Аничков дворец был ухожен и украшен со вкусом и с царским достоинством.

Главная лестница оделась в мрамор, стены закрыли безумно дорогие синопские ковры и декоративные картины Робера.

Плафон в зале написал профессор Гун на модную классическую тему: «Исчезающая ночь с появляющейся Авророй».

Был устроен разборный театр, стены которого были покрыты гобеленами, купленными у Скорятина.

Одну из стен малой столовой украшало панно, созданное по высочайшему заказу в Дании, — забота о глазках жены, чтоб грустили поменьше.

Царица Мария Федоровна была датской принцессой Дагмарой. Ее обручили со старшим братом Александра, цесаревичем Николаем, и, когда Николай умер, вместе с титулом цесаревича Александру в наследство досталась и принцесса Дагмара.

Александр Александрович почитал себя знатоком и покровителем искусств. Он купил богатейшую коллекцию Кокорева: Брюллов, Басин, Бруни, Боровиковский, Клодт, Сверчков. Он приобрел картины Ватто и Бламберга, хотя о старых мастерах говаривал с обычной своею прямою и честностью: «Я должен любить древнюю живопись, ибо все признают старых мастеров великими, но собственного впечатления не имею».

Будучи в Париже, Александр Александрович посетил колонию русских художников. У скульптора Антокольского он купил «Христа», «Петра Великого» и две скульптуры заказал: «Ермака» и «Нестора-летописца». Получили заказы и другие художники: Репину предложено было написать картину «Садко, богатый гость», Савицкому — «Туристы в Бурбуле».

Государь и сам имел склонность к рисованию. Копировал римский вид Тиволи, нарисовал ботик Петра. Жена его тоже была художница, педантичная, упрямая. На одну копию с Мейсонье она потратила год и два месяца, на другую семь месяцев.

Сегодня она тоже занималась живописью под руководством придворного художника Боголюбова.

Вошел император.

Под глазами нездоровые мешочки, лицо усталое. Улыбнулся Марии Федоровне, поцеловал у нее руку.

— Наш Алексей Петрович, — сказала царица, заглядывая мужу в глаза, — сегодня очень грустен. Надо его порадовать, а потому дай слово, что исполнишь вместе со мною доброе дело.

— Велико ли ваше дело, какова его суть?

— Это ты узнаешь тотчас, но сначала скажи — да.

— Когда я был цесаревичем, слово «да» никогда у меня на языке не застревало.

— А теперь?

— Теперь — мы цари.

— Ты устал?

— Не устал. Надоело читать бумаги. Итак, я с удовольствием послужу доброму вашему делу. Но только что это за таинственность?

— Алексей Петрович, передайте ваш рассказ мужу.

Боголюбов был при Александре Александровиче уже много лет, ездил с ним по Волге и за границу, а потому говорил с государем просто, ибо шаркающих и пресмыкающихся тот не терпел.

— Извините меня, ваше величество, я, точно, расстроен печальным событием, случившимся сегодня подо мною, в академическом подвале. У жены нашего служителя, бедняка, была вдовья сестра. Сестра эта жила подённою работой и кормила двух малолетних девочек. И вот — смерть. Ее сироты оставлены человеку, который сам обременен огромной семьей. Я пришел на помощь, дал деньги на погребение, но теперь нужно позаботиться о детях. Есть у меня душевный русский человек — купец Громов. Постараюсь призвать его к этому Христову делу...

Государь слушал с некоторым напряжением, но без признаков нетерпения. Взглянул на царицу. Мария Федоровна в ответ улыбнулась.

— Ну, Алексей Петрович, — сказала она, — теперь ступайте к моему секретарю Федору Адольфиевичу и скажите, что младшую девочку беру я.

— А от меня, — расслабляясь, заулыбался Александр Александрович, — а от меня, Алексей Петрович, скажите Василию Васильевичу, моему гофмаршалу, что я беру старшую.

И царь с царицею, счастливые и очень довольные собою, пошли завтракать.

II

Завтрак был званный. Мария Федоровна поцеловала мужа в холодную щеку и, легкая, счастливая, побежала, как в былые годы, в Копенгагене, в принцессах, одеваться. Александр Александрович, улыбаясь, проводил ее взглядом до дверей и

пошел на служебную половину к генералу Черевину, начальнику своей личной охраны.

— Как дела с изобретением? — спросил государь своего благодушного генерала.

— Готово.

— Показывай.

— Оно при мне.

— Не вижу.

— Гляди лучше.

Они были на «ты» со времен Балканской кампании.

— Не вижу.

Черевин довольно захохотал, нагнулся и достал из-за голенища сдавленную с боков фляжку. Государь отвинтил крышку, понюхал, крикнул и вернул фляжку генералу:

— Долей. Сейчас за завтраком и опробуем.

— Государь, сапоги нужны особые. Видите, у меня какие голенища.

— Снимай сапоги.

— Но у меня нога больше.

— Снимай, да поскорее. И чтоб завтра же у меня были «особые» сапоги.

Погогатывая, переобулись. Черевин остался в одних портянках.

— Государь, я ведь тоже на завтрак приглашен.

— Гони адъютанта домой, за другой парой. Чуть припоздаешь. Я за тебя перед Марией Федоровной заступлюсь. Так и быть.

Мария Федоровна явилась перед гостями в русском сарафане а-ля Венецианов, в кокошнике и жемчугах.

— В честь вас, истинно русских людей, патриотов, я распорядилась подать исконно русские кушанья, — объявила Мария Федоровна, объяснив странную сервировку стола.

На завтрак были приглашены очень нужные теперь люди: генерал-губернатор Москвы князь Владимир Андреевич Долгорукий, министр внутренних дел граф Дмитрий Андреевич Толстой, председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич и генерал Черевин, который почему-то запоздал.

Стол рассекало надвое огромное остроносое блюдо, на котором возлежал трехметровый осетр. Вся остальная еда при-

тулилась вокруг этого великана, не столь приметная с виду, но под такими соленьями, под такими укропами, такая огненно-острая и дремуче-кислая, что не выпить под нее водки было никак невозможно.

— Не побрезгуйте вот этой темной, невзрачной на вид похлебкой,— предупредила Мария Федоровна,— это и есть настоящее русское похмелье.

— Похмелье? — удивился великий князь Михаил Николаевич.

— Похмелье! — торжественно провозгласила Мария Федоровна.— Русские уже забыли, что это была такая утренняя похлебка.

— Мария Федоровна сама готовила,— улыбнулся государь.— По рецептам господина Забелина, нашего историка.

— «Домашний быт русских цариц»! — Граф Толстой недавно когда-то был министром просвещения.

Водку пили из братины, по кругу. Александр Александрович пригубил и передал Михаилу Николаевичу, тот — князю Долгорукому, князь — графу.

Мария Федоровна выпила из хрустальной рюмки, с удовольствием глядя на пирующих мужчин.

Никаких особых проблем на завтраке обсуждать не предусматривали, деловая его часть заключалась в том, чтобы участники чувствовали себя за царским столом по-семейному. Это чувство должно было внести в их деловую жизнь особый личный оттенок.

Россия готовилась к событию совершенно особенному — к коронации. Церемония, шествия, служба в Успенском соборе, освящение храма Христа-спасителя, гуляния и пиры — все это продумано, расписано. Полиция, тайная и явная, заполонила Москву. Указы и манифесты отредактированы. Награды оговорены. Настроения народа известны и учтены. Нигилизму нанесен смертельный удар. И последней точкой в этом постыдном для престола затянувшемся деле, последним погребальным пристанищем станет нигилизму крепость Шлиссельбург. И все же пока до коронации оставалось время, государь использовал его на укрепление своей неприступной позиции, подпирая ее и так и этак, чтобы потом ни в чем не упрекнуть самого же себя.

На русском завтраке не обошлось без щей, каши, великого множества пирогов.

Братина сплотила. Приглашенные на завтрак чувствовали, как шевелится в груди безудержная русская удаль.

— Славно! — радовалась Мария Федоровна. — Александр Александрович очень веселый. Я уже стала забывать его смех. В Копенгагене, когда мы приезжаем, дети не отходят от своего «дяди Саши». У них есть очаровательная игра. Все принцы, принцессы: датские, английские, немецкие, — все, как это... набрасываются на него и пытаются сдвинуть с места. А Саша, словно... есть Александрийский столп. Я счастлива, господа, что с вами мой муж молодеет сердцем. У него даже морщинки на лбу разглаживаются.

— Как им не быть, морщинам? — Александр ладонью поглаживает бороду, сильно щурит глаза — озабочен. — Европейский кризис перешел-таки границы нашей империи. В Москве на заводе Берда из четырех тысяч рабочих три тысячи уволены, на Сампсониевском из полутора тысяч уволена тысяча, у Нобеля из тысячи двухсот — ровно половина. В Костроме сокращения на одну треть, в Смоленске — на две трети...

На лице министра внутренних дел графа Толстого решимость и твердость.

— Устоим, государь! Сокращение производства — беда, но еще не катастрофа. Это дело моей чести, государь, не допустить полной остановки фабрик и заводов.

— Спасибо, граф.

Князь Долгорукий поймал мгновение и направил разговор в то русло, где у него была своя, и не последняя, роль.

— В Москве, государь, пострадали одни механические заводы, текстильная промышленность — молодцом! Производство несколько сократилось, но пока что ни один рабочий не выставлен за дверь, разве что за чрезмерную леность и пьянство... Во время вашего августейшего коронавания, государь и государыня, в древней столице — москвичи просили меня заверить ваши величества в этом — невозможно будет сыскать ни одного недовольного человека. Праздник и радость. Единение и вера. С такими чувствами Москва ожидает великого события.

— Нигилисты распространяют слухи, будто бы я откладываю коронавание из боязни быть взорванным их бомбою. — Александр сказал это спокойно, усмехнулся, покачал головой. — Они плохо знают своих государей. Я всегда готов к худшему и долг перед отечеством и перед престолом исполню до конца.

Граф Толстой встал и поклонился Александру. Это был порыв, и все так это и поняли. Он сказал:

— Молодежь, государь, отшатнулась от безумцев, проповедующих завиральные идеи. Ужас злодеяния показал романтическим натурам, куда их толкают те, кто проклят всем народом первого марта.

— Студентики в Москве пытались организовать беспорядки,— тотчас откликнулся князь Долгорукий,— но боже мой, как их били в Охотном ряду! Еле отняли. Народ, государь,— стеной на страже самодержавия.

— В пятнадцать — семнадцать лет нет заманчивее идеи, той идеи, которая обещает переделать мир.— Александр как-то потяжелел на глазах, и слова у него потяжелели. (Мария Федоровна восторгалась: Александр Александрович, только дважды пригубивший из братины, был совершенно пьян.) — Господь лучше нас, господа, знает, как устраивать мир, но что касается меня, то если бы господа богу угодно было завтра же положить конец всему, я был бы очень доволен.

Разговор оборвался.

Александр III, для которого составляют экстракты из газет, который сочинениям Льва Толстого и Тургенева предпочитает романы Болеслава Маркевича, император, не способный самостоятельно понять смысл документов — секретарь вынужден тайно готовить для него краткие извлечения с пояснениями о решениях Государственного совета,— этот самодержец-тупица наизусть помнит письмо Исполнительного комитета «Народной воли», которое легло ему на стол 10 марта 1881 года.

«Мы обращаемся к Вам, отбросивши все предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что Вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к Вам, как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознание своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России, ждем того же и от Вас».

Он помнил эту бумагу слово в слово до последней фразы: «Полная свобода печати, слова, сходов, избирательных программ».

Нет, он не боится смерти. Он боится умников. Всех этих писателей и читателей, которые могут принести государству вреда больше, нежели война. Он ненавидит слово «конституция». Он верит в порядок. Порядок спасет Россию. От голода, от немощи, от умников.

— И никаких речей! — вдруг говорит Александр III своим гостям, подчеркивая слова резким размашистым жестом: фляга в сапоге пуста. — Мне сообщали: московский голова господин Чичерин собирался говорить. Не надо! Речи вызывают кривотолки. Чтоб никаких ненужных надежд. Все это пустое. Словами людей не оденешь и не накормишь. Нужно работать. Всем и много.

На каждое слово государя граф Толстой кивает. Он согласен. Жить по одной прямой проще и полезнее. Недаром, отвечая на приглашение царя занять пост министра внутренних дел, он писал:

«Угодно ли его величеству иметь министром человека, который убежден, что реформы прошлого царствования были ошибкой, что у нас было население спокойное, зажиточное, жившее под руководством более образованных людей (помещиков)... а теперь явилось разорение, нищенское, пьяное. Недовольное население крестьян, разоренное, недовольное дворянство, суды, которые постоянно вредят полиции. 600 говорилен земских, оппозиционных правительству. Поэтому задача министра внутренних дел должна состоять в том, чтобы не развивать, а парализовать все оппозиционное правительству».

Граф ежемесячно выдавал из казны две тысячи рублей на личную охрану и закручивал гайки. Его называли злым гением России, и все почти, вплоть до министров, ждали освободительного выстрела, но стрелять было некому. Время террористов миновало, революционеры штудировали политэкономию и учили грамоте уже не крестьян, а рабочих.

Граф Толстой был согласен с Александром III, но и у него имелся заготовленный заранее вопрос.

— Государь, на коронации речей не будет, это хорошо. Однако на встрече с волостными старостами от вас, ваше величество, будут ждать слова.

— Я — скажу. Победоносцев готовит текст краткой строгой речи.

Явился опоздавший Черевин, и начали подавать десерт. Государь подмигнул генералу и вновь повеселел.

«С Черевиним надо быть в дружбе», — отметили себе и

министр и генерал-губернатор, а председатель Государственного совета терпеливо ждал удобной минуты рассказать анекдотец. О женщинах государь анекдотов не терпел, но вот о купечестве, пожалуй бы, сошло и вполне было бы кстати.

Великий князь Михаил Николаевич, сын Николая I, бывший наместник Кавказа, генерал-фельдцейхмейстер, имел репутацию глупого председателя Государственного совета и полностью оправдывал слова жены Наполеона III, Евгении, которая, поговорив с ним, воскликнула: «Но это не человек, это — лошадь!»

Пока императрица делала Черевину выговор за опоздание и пока тот неловко оправдывался, граф Толстой с единственной якобы целью переменить тему, а на самом деле вполне намеренно и с озабоченностью доложил государю о том, что петербургские и московские текстильные фабриканты никак не могут договориться об общих мерах по борьбе с кризисом. Пока дела неплохи, но кризис и волнения всегда идут рука об руку. Все это естественно, противоестественно упрямство промышленных королей, из-за которого могут произойти серьезные беспорядки.

— О, это третье сословие, — восторженно воскликнул великий князь Михаил Николаевич. — Российское, так сказать, купечество... Мне говорили, как у вас в Москве, дражайший князь Владимир Андреевич, — кивнул он в сторону Долгорукого, — у Яра загуляло шестеро купчишек. Погулявши в Яру, они полетели в Стрельню, освежиться. — Великий князь хохотнул. — И освежившись до полного изнеможения, знаете, кинулись составлять проекты. В Стрельне, говорят, устроен тропический сад, не так ли? И, видимо, под влиянием флоры и фауны наши герои придумали поохотиться на львов. И знаете, тотчас и поехали. Причем один из них по дороге выпал из коляски, совершенно разбил лицо, но не заметил, и его товарищи этого не заметили... Очнувшись же они, — Михаил Николаевич сделал долгую паузу, тонко улыбаясь и оглядывая за столом каждого, — в Орле, милостивые государи! Никто из них не мог понять, почему они очутились так далеко от стольного. И, как знать, нашелся ли бы у них хоть сколько-то вразумительный ответ, если бы они не наткнулись вдруг на план путешествия... Очень! Очень!

— Очень! — согласилась Мария Федоровна, которая уже спешила закончить завтрак.

Ей было теперь не до анекдотов и не до политики. Алек-

сандр Александрович каким-то совершенно таинственным образом, не выходя из-за стола (а за столом почти не прикасаясь к спиртному), все-таки набрался. Было объявлено, что завтрак удался, и он действительно удался, если бы не это маленькое, но вполне загадочное происшествие.

III

Прошло три недели. И вот Александр Александрович стоял у высокого окна, перечеркнутого с внешней стороны толстыми железными прутьями. Не тюрьма, не крепость — загородный московский дворец Петра. Отсюда должно было начаться наиторжественнейшее историческое шествие царского поезда — въезд в древнюю столицу.

Окно, возле которого стоял теперь Александр III, по преданию, было любимым местом Наполеона. Бонапарт спасался в Петровском дворце от московских пожаров.

Эта историческая памятка покорила Александра: не углядят ли остряки какой-либо параллели?

Все последние дни государь был молчалив, мягок и печален. Готовил себя к худшему.

Глядя из окна, как выстраивается его поезд, он испытывал легкое недомогание и столь же легкую злобу: когда же все это останется позади? Он был голоден. С утра у него не было во рту и маковой росинки. Если ранят, докторам будет легче.

Так он решил про себя.

Вдруг стекло, а потом и стены и пол словно бы вздрогнули, «Колокола, — догадался государь. — Первый удар от Ивана Великого, потом трижды в Успенском, потом звон у Симонова монастыря и, наконец, удары сорока сороков с семи холмов Москвы».

В комнату вошла сверкающая звездами свита.

— Ваше величество, пора.

Он кивнул. Отвернулся от окна и пошел. Твердо, весь в себе, окидывая взглядом собственно его величества конвой драгун, кавалергардов, но чуть запнулся у золотой кареты жены.

— Ах, скорее, скорее! — прошептала она одними губами, возбужденная и совершенно счастливая.

Тотчас высунулась румяная восьмилетняя Ксения Александровна. Пританцовывая, немножко кривляясь, тоже совершенно одуревшая от собственных нарядов, от нарядов матери, от всеобщего блеска. Он улыбнулся им.

Улыбнулся сыну Николаю, строго и чинно стоявшему возле своего пони. Сын просиял в ответ, и Александру впервые подумалось: «Как знать, может, все и обойдется».

Красная площадь, запруженная нарядным народом, была пересечена посыпанной песком дорогой, вдоль которой шпалерами стояли павловцы в остроконечных киверах.

Грохотали пушки. Под их пальбу поехали драгуны и казаки, пронося серебряный лес пик, поехали кавалергарды в блестящих касках и с серебряными орлами. Полыхнул алыми черкесками царский конвой, и теперь ехал он. Сам. На светло-сером усталом, неторопливом коне. Этот конь — старый его боевой товарищ, прошел с ним всю турецкую кампанию.

За ним на пони серьезно семенил наследник. Потом золотым букетом, надушенная и нарумяненная, сверкающая и улыбающаяся, ввалилась на площадь свита. За свитою на шестерке белых коней в золотой карете следовала царица Мария Федоровна, а дочка ее, княжна Ксения, посылала обеими руками воздушные поцелуи, вышибая из преданных подданных слезу восторга и умиления.

Едва царь вступил на Красную площадь, пушки смолкли и грянул «Славу» в двенадцать тысяч голосов детский хор, управляемый ста пятьюдесятью регентами.

Огромное колесо царского праздника пришло в движение. Освящение государственного знамени, говение их императорских высочеств, перенесение регалий из Оружейной палаты в Тронную залу. Наконец 15 мая совершилось священное коронавание. К Успенскому собору государь и государыня шествовали под балдахином. Балдахин несли двадцать четыре самых славных русских генерала.

Перед народом, уже в коронах, в порфирах, подбитых горностаем, император Александр III с императрицею Марией Федоровной явились на Красном Крыльце. Александр держал скипетр, на котором длинными синими лучами полыхал алмаз стоимостью свыше двадцати двух миллионов рублей.

Государь на историческом обеде в Грановитой палате поел впервые за все эти дни с охотой и с чувством.

На парадном концерте он даже развеселился. Навел бинюк на ложу иностранцев, которые одни были в черных фраках, и шепнул Марии Федоровне:

— А там собрались нигилисты!

Императрица весело засмеялась, и государь, ободренный успехом шутки, повторил ее громко, для сановников своих:

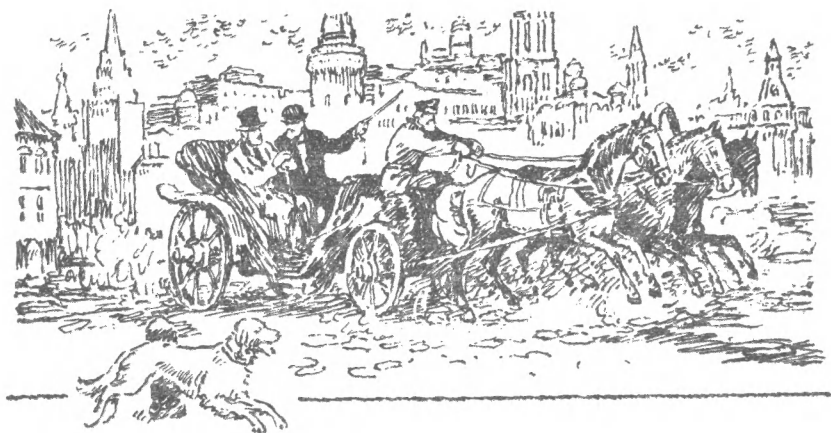
— А там собрались нигилисты!

— А там собрались нигилисты! — хохотал расшитый золотом, увешанный бриллиантовыми крестами и звездами российский высший театр.

В тот же вечер глядели иллюминацию. Готовясь ко сну, Александр III из всего потока письменных поздравлений выбрал письмо доверительного своего друга и учителя Победоносцева и с удовольствием прочитал:

«Какой сегодня радостный день и вечер для Москвы! — писал обер-прокурор Святейшего Синода. — Вы не видели, какое действие произвел первый удар колокола на Иване Великом, как все в Москве, не исключая солдат, стоявших под ружьем, сняли шапки и перекрестились».

— Господи! — тучнеющий Александр Александрович тяжело опустился на колени и склонил редеющую рыжеватую шевелюру перед образами. — Господи! Неужто Россия спасена от скверны нигилизма! Помилуй меня, господи!



ТИМОФЕЙ САВВИЧ И ДРУГИЕ

26 мая 1883 года в день освящения храма Христа-спасителя императору Александру III представитель Нижнего Новгорода городской голова купец Василий Александрович Соболев, человек вполне русский, то есть страшно сильный, широкий, с хитрющими веселыми глазами на простодушном лице, поднес от имени города изображение хоругви Козьмы Минина.

Сразу же после события Соболев попал в объятия давнего своего приятеля, московского промышленника и купца Тимофея Саввича Морозова.

Председатель Московского биржевого комитета, учредитель и член совета Общества взаимного кредита, гласный в городской думе, любитель прокатить по заграницам, Морозов был человек нужный, богатый, обидчивый, а потому Василий Александрович Соболев разрешил ему увезти себя.

И Тимофей Саввич повез дорогого гостя, только что совершившего акт исторического поднесения, к себе домой, под золотую крышу бывшего дома Кокарева, что на Земляном валу, и задал в честь знаменитого гостя вполне великосветский бал.

У москвичей в те дни столы и балы были наготове. В древ-

нюю столицу наехало столько значительных, новых, бесценных людей, что упустить случай было никак нельзя.

Откуда ни возьмись, явились в доме Морозова генералы и генеральши, даже князья, и далеко не последние. Были иностранцы, дипломаты и промышленники. Тимофей Саввич ревниво оберегал свое прозвище — Англичанин. Нравилось. До того нравилось, что сына родного, как Московский-то университет закончит, обещал в Оксфорд отправить. Всем об этом сам же и трезвонил.

Тимофей Саввич с чувством знакомил своего главного гостя с другими гостями.

— Василий Александрович Соболев,— говорил он, слегка шаркая ногой,— голова Нижегородской думы. Сегодня подносил в храме Христа-спасителя государю императору изображение хоругви великого русского гражданина и купца Минина.

Одна старенькая генеральша до того расчувствовалась после такого представления, что не удержалась спросить:

— Василий Александрович, милый, неужто вот этими самими руками, которые я вижу теперь и которые даже потрогать могу, вы — самому Александру Третьему?

— Вот этими,— разглядывая мясистые свои ладони, пробормотал в смущении Василий Александрович, впиваясь, однако, в старушеницу взглядом самым пронзительным: не смеются ли над дураком?

Но старушеница зашебетала по-птичьему своим веснушчатым внушкам что-то очень восторженное и, однако ж, не по-русски.

Пока гремела мазурка и адъютанты отплясывали с генеральскими и купеческими дочками, хозяин увел гостя в библиотеку.

Собрание древних книг у Тимофея Саввича было редкостное. Книголюб Соболев удивился, а Тимофей Саввич, довольный произведенным эффектом, улыбался и вдруг открывал шкаф с рукописями, которым было никак не меньше трех-четырех сотен лет.

— Я же ведь штатный попечительного совета при Музее! Правда, Музеум художественно-промышленный, но... — Он похотывал простодушно и хищно.

Его зеленые глаза вытягивались в длинные рысьи щели и замирали, останавливались совершенно. Огонь в них, как бы ныряющий, в этот момент не угасал ни на долю секунды, он будто бы даже разрастался, свирепел. И тому, на ком эти гла-

за останавливались, было страшно и уж наверняка не по себе.
— У меня в Зуеве объявились мастера. Не только профанам-любителям, но и профессорам в университетах этакий древний псалтырик всучат, что у тех руки от радости дрожат. А всей этой древности от роду не больше месяца.

И опять длинный, рысий, остановившийся взгляд.

Соболев присел, ухнул и так, присев, ухал с минуту: смеялся. Потом достал из кармана расшитый по краям жемчугами батистовый платок и высморкался.

— Давай-ка выпьем, брат, по поводу, — сказал Тимофей Саввич и нажал какую-то кнопку.

Одна из книжных полок перевернулась, и замшелые бутылочки, непривычной старой формы, подбоченясь, рядом замерли перед отцами отечественной промышленности и торговли.

Василий Александрович уверенно протянул руку и взял одну из хоровода.

— Ну и глаз у тебя! — восхитился Тимофей Саввич. — Самую лучшую выбрал.

— Практика-с! — Василий Александрович снова присел, ухнул и пошел ухать, пока не притомился.

Сели возле стола, выпили. Пошелкали языками, помурлыкали, смакуя. И еще выпили.

Тут как-то разговор сам собой перешел на дело. На то они и праздники, чтоб дела делать. •

— Идут слухи о серьезных разногласиях между петербургскими и московскими текстильными промышленниками, — напрямик спросил Соболев, — в чем суть?

— Производительность превысила требование рынка, — легко, беззаботно, словно его это и не касалось, ответил Морозов. — Петербургские фабриканты требуют запрещения ночных работ. Они считают, что находятся в неодинаковых с нами условиях. У нас, москвичей, работают дети, женщины, да плюс ночные смены. У них же ночных смен нет, но зато на их стороне опыт цивилизованных стран.

— Да ведь так оно и есть, — притворился простодушным Василий Александрович.

— Я тоже за прекращение ночных смен, — медленно, с расстановкой сказал Тимофей Саввич. — Прекращение ночных смен имеет смысл хотя бы потому, что за границей ночных смен действительно нет и качество их товара поэтому выше. Но для многих фабрик центрального промышленного округа

воспрещение ночных работ означает лишить самой работы и средств к жизни половину рабочих. Тотчас ведь и цена на труд упадет.

— И, стало быть, безобразные российские бунты?

— Волнения.

Тимофей Саввич убрал-таки заветную бутылочку и налил из другой.

— Пиратское.

Соболев выпил, похвалил, но вернулся к разговору.

— Не замшеет ли наша промышленность, как эти превосходные бутылочки, которым старость не вредит?

— Ночные смены останутся надолго. В России стоимость оборудования, сырья, топлива гораздо выше, чем за границей. И это при значительно меньшем числе годовых рабочих дней, их у нас только двести пятьдесят. Да ведь нам приходится и жилье строить, и школы, и церкви. Все это удорожает производство. Если же запретить ночные смены только для женщин и подростков, то запрещение это останется на бумаге. Подобное запрещение равносильно уничтожению ночных работ вообще. На прядильных фабриках работают одни женщины и подростки.

— Так чем же кончится конфликт?

— Ничем.— Глаза Тимофея Саввича загорелись ярко и бесстыдно.— Бумагопрядильные и ткацкие фабрики дают в России среднюю прибыль, равную двенадцати процентам. А мои фабрики дают мне пятьдесят два и семь десятых процента. Так что, Василий Александрович, если желаете заняться текстилем, не прогадаете.

— Подумать надо,— сказал серьезно нижегородский купец, но вдруг пригнулся и заухал своим удивительным смехом.— Ты, Саввич, на прощанье из той налей, из первой.

В доме под золотой крышей гасили огни, но жизнь в нем не замарала, а словно бы только теперь и начиналась.

Как ночная черная птица, прилетел на темные окна большой, неслышный — мимо пройдет, только воздух и вздрогнет — старообрядческий архиерей Антоний.

Основатель дома Морозовых — Савва Васильевич — был старовером.

Лет 250 назад случился в православной русской церкви раскол.

Ученые богословы, исправляя ошибки переписчиков в старых церковных книгах, пришли к тому, что следует изменить

некоторые обряды: креститься не двумя, а тремя перстами, петь в церкви позволялось на голоса, а не в унисон, были отвергнуты многие старые иконы, был принят не только восьмиконечный, с перекалиною крест, но и четырехконечный. Люди, державшиеся за обычаи предков, не приняли новшеств. Началась борьба, гонения, и при Петре многие староверы бежали в леса. А лесов хватало в те поры и под Москвою.

Жили староверы замкнуто. Вина не пили, не курили, носили бороды. На государственную службу не шли, вера запрещала, и потому был для смекалистых, умных людей один путь: в купцы.

Так получилось, что процентов на семьдесят московское купечество исповедовало старую веру. Кто не был старовером, чтоб не потерять кредит связи, спешил к старообрядцам переименоваться — выгодно. Даже Рябушинские, семейство страшно богатое, банкиры, перебравшись в древнюю столицу из Боровска, чтобы не быть белыми воронами, отреклись от государственного православия.

Морозовы сперва тихом жили, а нынче московской крыши над головой мало им, подавай им крышу золотую.

Четверо братьев Морозовых в ситцевом королевстве российском — владыки. У Ивана мануфактура в Богородске, у Абрама — в Твери, у Елисея и Тимофея — в Зуеве и в Никольском.

Давно ли лапотник Савва Васильевич, батюшка, основатель дома и дела, благодетелей искал? Теперь у них, у Морозовых, ищут совета и опоры, к ним в дом на тайные сборища спешат.

Сам Тимофей Саввич по заграницам любил ездить, путешествовать, вино пил, в театры ездил, но жена его, Мария Федоровна, была религиозна до фанатизма.

Дочери из гнезда уже упорхнули.

Дорожку старшая показала, Анна. С репетитором сыновей Саввушки и Сережи бежала. Никакие строгости не удержали. Студентик — для другой бы находка — ныне в профессорах, а для Морозовых: учен, да без капиталу.

И Алефтина туда же — муженька в Московском университете нашла. И у Юлии муж — деятель. Одна младшая, Александра, за стоящим человеком, но тоже не богат. У Тимофея Саввича управляющим фабрики служит, в Орехове.

Сыновья отцовского крова не оставили пока. Сергей младше Саввы на год, ему двадцать один, но успел жениться.

В красоте Зинаиде Григорьевне не откажешь, и умна, и сердце у нее хорошее, а недостаток тот же. Отец у нее, правда, фабричку имел, но плохонькую, копеечное дело. Для Сергея Тимофеевича и бесприданница хороша. Болен неизлечимо: шизофрения.

Да и у остальных деток норов — упаси господи. Большая кровь от Марии Федоровны. Она из семьи казанских откупщиков, русская, но какие-то восточные крови были у них в роду. Удлиненные зеленые глаза в молодости доставили Марии Федоровне славу красавицы и прозвище Адамант — алмаз. Даже теперь, когда ей за пятьдесят, красота ее не померкла. Только недобрая эта красота.

Тонкие губы сжимались властно и брезгливо, лицо без морщин, неподвижное, как маска. Глаза, полуприкрытые сверху мешочками, никому не верят и никого не любят.

Мария Федоровна шествует через весь дом в молельню. Савва в гостинной рассматривает альбом рисунков. Один взгляд матушки, и альбом закрыт.

Савва смотрит в спину матери, изо всех сил медлит, но он не может не идти за нею.

В молельне все уже в сборе, все московские тузы здесь. Служба началась.

Тимофей Саввич в посконной рубахе, опрошенный, кроткий.

Банкир Рябушинский одет под статью ему.

Молились. Пели в унисон гимны праотцев. Долгие, печальные. После молебна беседовали...

Александр III показал себя правителем крутым, не терпящим изворотливости. Официальную церковь защищал рьяно. Отдал приказ восстановить заброшенный и запущенный Успенский собор во Владимире. Сам освящал ярмарочный храм в Нижнем Новгороде, а теперь в Москве храм Христа-спасителя. Готовится закладка храма «на крови» в Петербурге. Как грибы, растут иноческие обители. Их уже более семисот. В Прибалтике восстановлены православные храмы и потихоньку закрывают католические и лютеранские. Дерпт переименован в Юрьев, Динабург — в Двинск. В Москве закрыты синагоги, евреи выселены в Варшаву.

Всезнающая паства архиерея Антония сошлась на том, что государь к старообрядчеству относится худо, и все же он готов терпеть это совершенно русское явление жизни как грустную необходимость, как дань жалкому невежеству.

Когда прозвучала эта обнадеживающая формула, перевел дух.

После молебна и беседы прикладывались к руке архиерея. Савва — не подошел.

Архиерей посмотрел на него без особой строгости и будто бы даже улыбаясь, но Савва на улыбку не ответил и с места не сдвинулся.

...На улице было светло — майские ночи коротки, — когда в доме наконец остались свои.

— Как все это отвратительно! — Савва распахнул окна в сад. — Даже сирень, еще не распустившись, представляется мне после этой ночи ложью!

— Ну-ну! — прикрикнул отец. — Умничай!

— Я дня четыре назад на Ходынском поле аллегорическое шествие, устроенное господином Лентовским, глядел. Герольды, майские жуки и кузнечики, царица пчел с ульем, Микула Селянинович, Змей Горыныч и меч-кладенец, Добрынюшка, Хмель с хмелинками, Медведь, Коза и Журавль... Дикая, слащавая мешанина, пошлость нараспашку, и все в восторге. Все аплодируют... Ну ладно, что взять с угодника и лизоблуда Лентовского! Этот царю хотел угодить. Но нам-то для чего ночные фарсы?

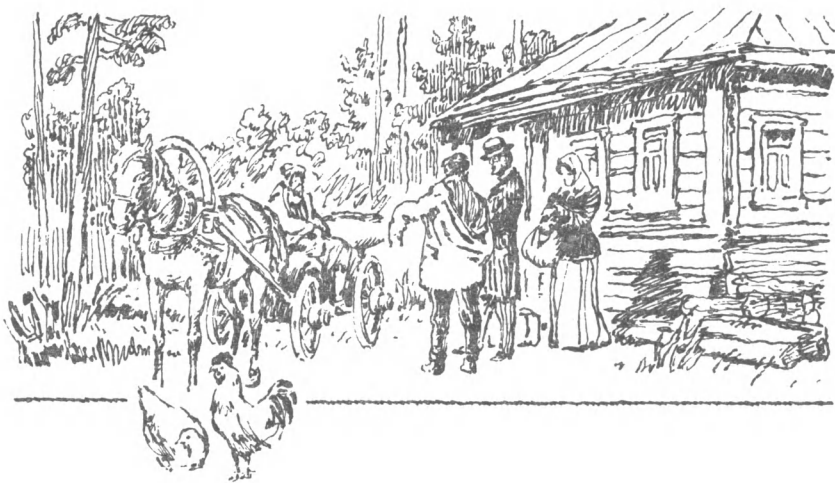
Тимофей Саввич подошел к сыну. Он шел к нему со скопанным, беспощадным лицом фанатика, и Савва вспотел от того позора, который придется сейчас пережить: ударит.

Но отец взял его за плечи, ласково улыбнулся ему, может, первый раз в жизни:

— Савва, я родился крепостным человеком. Ты понимаешь это? Крепостным. Я был вещью в хозяйстве барина. А сын мой университет заканчивает... Пока ты этого не понимаешь! Но запомни: веры нашей держись... Рябушинские вон какие люди, а тоже на «фарсы» ходят. Кончишь курс, поезжай в Никольское!.. Недельки на две хотя бы...

Неслышно вошла в комнату мать.

— Я посылаю его в Никольское на время государственной инспекции, — сказал Тимофей Саввич. — Перед Англией — не вредно.



НОВАЯ ФАМИЛИЯ

I

В ту бессонную для господ Морозовых ночь за тысячи километров от обеих русских столиц в сибирском селе Анцырь Канского уезда не сомкнул глаз совсем не приметный и никем не взятый в расчет человек: ни царем, ни умником Тимофеем Саввичем. Никого тот человек во все свои тридцать с годом не обидел, дурного никому не хотел, а если и хотел чего, так одного хорошего. За это беспокойное свойство — делать хорошее другим, думать о других и бороться ради общего он и был теперь не в Питере и не в нарядившейся в честь царского праздника Москве, а был он здесь, в Анцыре.

Звали его Петр Анисимович. Росту он был малого. Волосы копной, рыжеватые. Нрава веселого. Спину и шею имел крепкие. Рукам его любая работа давалась легко. За что ни возьмется — выйдет как следует, словно всю жизнь этим только делом и занимался. Что по-рабочему, что по крестьянству — все умел.

Срок высылки подходил у Петра Анисимыча к концу, и его начинали одолевать думы, стало быть, и бессонницы. Так и не заснув, он оделся и, поглядев на сладко спящую жену, взял

ведро и пошел попробовать женской работы. Корову ему пришлось доить только раз, и в детстве.

Екатерина Сазоновна, жена Петра Анисимовича, проснулась, как всегда, вместе с солнышком, но не сама по себе, а будто бы от какого ветра. Будто бы ходит по избе светлый ветер, а Петра Анисимыча нет, то есть он как бы и есть и близко, и уж очень даже близко, но только нет его дома. Да и ветру бы взяться неоткуда. Зиму встречали — всякую щель конопатили, да и зима, слава богу, позади.

Этак размышляя, Екатерина Сазоновна проснулась до полного сознания и увидала, что ставни крайнего окна хоть и притворены, но вторая рама вынута, и окошко, впервые в этом году, настезь. Петра Анисимовича не было.

Екатерина Сазоновна быстрехонько порхнула по избе, разом натягивая платье и прибирая могучую косу, успевая поглядеться в зеркало и затопить печь, умыться и перекрестить лоб перед образом заступницы, послушать петухов и по солнцу определить: пора ли корову выгнать в стадо.

Время еще было, и Екатерина Сазоновна успела оправить поставленное с вечера тесто — сегодня хлебы печь.

Постель прибрала, подмела пол, кашу варить поставила. Все как молния.

Побежала с подойником доить корову. А коровы — нет в хлеву. Хотя все равно с хозяйством не нынче-завтра распрошаться придется, а сердечко ёкнуло. Выбежала через двор за ворота. А возле ворот на кряже сидит, жмурится на солнышке Петр Анисимович. Рубашка на нем праздничная, расшитая, пиджак, картуз, сапоги чищены, солнце на них, как на самоваре, горит. Сидит Петр Анисимович, прутиком играет, за коровой глядит.

— Доброе утро, Сазоновна! Хотел дать поспать тебе. А ты как всегда — птаха ранняя.

— Корову-то кто подоил?

— Кто?! — Петр Анисимыч и поработать умеет и погордиться.

Поймал жену за руку, притянул к себе и в обе щеки поцеловал.

— Что ты, Анисимович? Люди увидят!

— Са-зо-нов-на! — только и сказал.

Весь век озорник, а тут сказал хоть и не без веселости, но по-особому, и как бы лицо у него затуманилось.

Сазоновна своего-то была повыше на голову почти. Лицом

тихая. Не каждый и углядит, как хорошо оно, сколько в нем веры и сердца. На людях что взглядом, что словом — робкая. В походке мягкость, неуверенность.

А за мужем по этапу в Восточную Сибирь не дрогнула, пошла.

Вот Анисимович и сказал ей: «Са-зо-нов-на!»

Ну, а она, счастливая от неожиданного поцелуя — хоть и стыдного, на улице ведь, но такого молодого, как в самой молодой молодости, — заметалась вся, всплеснула руками:

— Господи, самовар забыла поставить! — А в воротах задержалась: — Нарядился-то с чего? День-то будний.

— А солнышко-то, Сазоновна! Солнышко-то какое! Май на исходе, глядишь, и нашему маетству конец.

Вот ведь как сказал: не успел самовар зашуметь, явился, будто снег на голову, сам господин исправник.

— Ну, Анисимов, магарыч ставь!

Исправник был из местных, из крестьян, а в Сибири крестьяне и каторжанина за человека почитают. Потому-то, может выбившись в люди, исправник ссыльных особенно не теснил, а при случае и помогал. Помог он и Петру Анисимовичу. Налетел в волость, спрашивает, где такой. Кинулись, а Петра Анисимовича нет. На заимке батрачит. Поскакали на заимку, привезли. Исправник во гневе:

— Почему отлучаешься?

— А как мне не отлучаться? — Петр Анисимович в ответ, криком его взять уже невозможно было. В тюрьмах сживал, в крепостях, карцерах, этапами ходил. Вот он, глазом не моргнув, и говорит: — А как мне не отлучаться, когда в день получаю по двадцать копеек. Работаю в батраках как вол, а жену прокормить не могу.

Местное начальство подтверждает: точно, Анисимов работник очень даже хороший, крестьяне его друг у друга перемавивают, а денег все же в деревне много заплатить и за хорошую работу невозможно.

Исправник посопел, посопел, да и придумал: пиши просьбу, мол, здоровьем ослаб — неспособным к труду пособие положено, по 6 рублей на человека. Стало быть, всего 12.

Как начал получать пособие Петр Анисимыч, так и вольготней ему стало. Купил ружье, лодку. Корову завел, поросенка. На охоту стал ходить. На Севере бы в чухотку загнали. Удачно попал, земля в Анцыре черная, родит хорошо, лес богатейший, реки рыбные. Одна печаль — далеко.

Собрала Сазонова на стол. Петр Анисимович за водкой сбегал. Выпил исправник, закусил. О рыбалке покалякал, об охоте. Потомил до полного своего удовольствия, а потом брякнул на стол бумаги:

— Ну, Анисимов, собирайся в путь-дорогу! Да по дороге-то подумай крепко. Сибирь-то, она, мужик, великая. У нас вон и лето, и весна, и осень, а есть края ледовитейшие, где круглый год одна зима, а зимою одна ночь.

Выдал исправник Петру Анисимовичу прогонные и уехал. Хоть и ждали конца ссылки, а тут как бы и опешили. Мая тридцатый уже день, а выезжать можно пятого июня. Недели нет.

Как сидели с женой на лавке, так и не поднялись. Слушали грохот колес улетевшего тарантаса, слушали петухов, а потом выскочил Петр Анисимыч из-за стола и к Лаговскому побегал.

Этого ссыльного в Анцырь только-только перевели, с женой. Хозяйства у них никакого. А человек хороший. Народник, инженер. Пять лет уже мотают его из одной ссылки в другую. На Севере сначала жил; отказался принести Александру III присягу, назначили еще пять лет, отправили в Енисейскую губернию... Сначала в Тасеево, а потом в Анцырь.

Лаговский за товарища обрадовался и тотчас загрузил.

Со своими беду мыкать хоть и не весело, а все ж и не так горько.

— Э, Лаговский,— подпрыгивал вокруг него воробышком взъерошенный от радости Петр Анисимыч,— за нашим братом дело не станет. Погоди, пришлют к тебе. Тесно еще будет.

— Плохо шутишь, Анисимыч.— Черные укоряющие глаза Лаговского, всего мгновение назад добрейшие и растерянные, леденели, отстранялись.

— Да брось ты сердиться! — всплеснул руками Петр Анисимыч.— Я ведь чего прибежал? Лодка у меня хорошая, кой-какое барахлишко, корова. Без коровы здесь совсем худо, а с коровой — ничего. Сена заготовишь — и в потолок поплевай. Телится хорошо, в феврале. Зимой с молоком. И детиш-кам хватит, и самому... Так что забирай и хозяйствуй.

Лицо бывшего инженера зарумянилось.

— Как же так, «забирай»? Этак нельзя. Не заплатив, я не могу. А денег тоже нет.

— Ты свое дворянство-то не выказывай. Не обижай простого человека.

— Но я действительно так... не могу. Не могу принять.

— Экое слово глупое — принять. А ты не принимай, а так бери.

— Я должен с женой посоветоваться.

— Во! — присев, хлопнул себя по коленкам возмущенный Петр Анисимыч. — Ну, так бог с тобой! Другому-то я все равно коровушку свою не отдам и не продам, потому что ты со своим «не могу» и вправду «занеможешь». Гони-ка мне, Лаговский, двадцатку за весь скарб, чтоб не думалось... Да не теперь, а когда деньги будут. Когда будут — пошлешь. Я напишу, куда послать.

Распорядившись своим движимым и недвижимым, Петр Анисимыч пригласил чету Лаговских на угощение. Беда говорят, одна не ходит, но радость тоже не без подружек: вечером прикатил желанный гость. Сам Лука Иванович Абраменков.

Лука, высокий, статный, в пенсне, с волосами до плеч, встал в дверях, сияя как солнышко.

И они ему оба, и Сазоновна и Анисимыч, заулыбались в ответ из-за стола так дружно и счастливо, что Лаговские обернулись.

Анисимыч привскочил, оперся руками на стол:

— Ну?

Лука засмеялся.

— С нами?

Лука засмеялся пуше девичьим своим ртом, полным красивых белых зубов.

— Вот ведь! — Анисимыч облегченно вытер со лба пот и сел.

— Да ты хоть гостя-то пригласи! — весело ужаснулась Сазоновна.

— Какой он гость! Этот гость брата родного роднее. А? Лука?

Лука подошел, обнял Анисимыча, осмотрел, поцеловал его, и все складно, верно.

— Мы с ним по одному делу, — пояснил Лаговским Анисимыч. — Я здесь, он в Устьянске.

«Удивительно, — подумал Лаговский. — Этот человек, ка-

жется, еще ни одного слова не сказал. Вернее, только одно-то и сказал, а уже и симпатичен и умен».

— Тебе в Устьянск надо еще возвращаться? — спросил Анисимыч.

— Нет. Весь я тут. Всего моего багажа — сундучок с книгами да сумка с бельишком.

— Вот и славно! — обрадовалась Сазоновна. — Анисимыч уже нанял телегу до Канска. А Лаговский тарантас у писаря берет. Проводит.

— Анисимыч, давно я песен твоих не слышал.

— Ну уж нет! — замахала руками Сазоновна. — Он тут до того допелся, что донос написали.

— Точно, — согласился Анисимыч, — мол, каждый день «Марсельезу» пою. Из Красноярска ротмистр приезжал.

— Вижу, обошлось.

— Обошлось.

— Пой, Анисимыч. Мы теперь люди вольные.

Анисимыч тотчас и грянул:

Я хочу вам рассказать,
Как нас стали обирать
Дармеды-кулаки,
Полицейские крючки...

Голос у него был оглушительно-заливистый. Все так и пригнулись, как он грянул.

Сазоновна ладонью закрыла ему рот.

— Ты что, сдурел? Мы уедем, а им-то жить!

Анисимыч виновато закивал, чуть склонился, да пуще прежнего, аж телок на улице с веревки сорвался:

Из-за оооо-строва
На стреееее-жень,
На простор...

Тут все облегченно засмеялись, а Анисимыч спел первый куплет и сказал:

— А первую-то сам сочинил, когда еще в коломенской части сидел. Страшное дело. Книг не давали. Даже Евангелия не давали. Карандаша, конечно, не было. Спичками на стене чертили, потом свинцовыми обертками из-под чая... Лука, помнишь, как перестукивались? Он один и умел среди наших перестукиваться.

Лука сказал вдруг:

— А пошли-ка, братцы, наловим на прощанье тайменей да хариусов и соорудим ушицу.

— Это самое,— вскочил Анисимыч.— Дело говоришь, такой ушибы в России не откушаешь.

Затеplился над рекою костер. Полетели искры в чернильное небо. Сидели, смотрели, молчали.

— А ведь хорошо,— сказал Лука.

— Хорошо,— согласился Лаговский.

Анисимыч покрутил горячей веточкой. Понюхал, как пахнет смолка, тихонько вздохнул:

— От хорошего, говорят, хорошее не ищут... А я, Лука, решил, это самое... К Зимину пойду, либо к Морозову. Оно, конечно, на фабрике воздуха не те, не здешние, прямо сказать... Да ведь, это самое... Коли уж тут заворшилось,— покрутил горячим прутиком над головой,— так никуда от себя не денешься. Правду говорю, Сазоновна?

— Правду,— ответила Сазоновна, сидевшая поодаль от костра вместе с женой Лаговского.

— И сам мучаешься, и жену мучишь, а дети будут — так и детей. Да уж ничего не поделаешь, потому, это самое,— стезя. Коли сам понял всю неправду, надо, чтоб и другие поняли. Не то — покоя тебе не будет. Коли сам понял и молчишь — значит, предатель ты.

Из-под нависших бровей глянул на Луку.

— Я с тобой, Анисимович. В Петербурге с нашими бумагами делать нечего.

— Вот я и говорю: к Зимину — там у меня отец, или к Морозовым. К Викуле, к Тимофею... или как их там! У них целое гнездо. Как думаешь, Лука, всколыхнем?.. Трудно будет, до страсти. Это не Петербург. Орехово — край гусляков. Суровый народ. Сам в себе... Чего молчишь, Сазоновна?

— А чего ж говорить. Уха вот, думаю, поспела. Пора ложки вынимать.

— Молодец ты у меня, Сазоновна.

— Да я и сама знаю, что молодец.

Засмеялась вдруг, да счастливо так. Всем и полегчало. К ведру с ухой придвинулись.

В Канске в честь отъезжающих в Россию на квартире сыльного врача Аппельберга был устроен прощальный обед. Говорили, как всегда, много. О судьбе Российской империи, о новом царе, гадали о тех силах, которые должны прийти на

смену народникам, «Земле и воле», «Народной воле», вспоминали друзей из «Северного союза русских рабочих».

— Мы здесь потеряли связь и с Петербургом и с Москвой,— сетовал Аппельберг.— На вас теперь вся надежда. Я дам тебе, Анисимыч, письма к своему московскому родственнику. Возможно, он поможет установить связь с Плехановым.

— Почему «возможно»? — Анисимыч маленько нахмурился.

— Орест женился, а женившись, порвал с организацией... Не хмурься, Анисимыч. Одно тебе могу гарантировать твердо: Орест — не провокатор. Человек он весьма и весьма порядочный.

Петр Анисимыч поднял на Аппельберга уже такие вдруг тяжелые глаза, что того в краску кинуло.

— Анисимыч, ты мне не доверяешь?

— Доверяю,— опустил голову.— Неохота на дьявола нарваться. Они ведь все «хорошие ребята». Так в душу влезут — роднее жены и брата... А ну их!..

Встрепенулся, глаза засветились, щербатый рот до ушей.

— Дело прошлое, тайны теперь уже нет: мы ведь с Сазоновной как бы крестные «Северного союза». На нашей квартире объединялись, Халтурин был. Обнорский. Делегаты с Нарвской заставы, с Выборгской, с Невской... Халтурин, помню, кинжал мне свой подарил. Он человек дела. Плеханов мне показал, где она — правда, а Халтурин за эту нашу правду научил биться.

— Давайте-ка братцы,— Лука Иванов поднял бокал,— давайте-ка за наших! За всех наших, где бы они ни были: на свободе, или на Каре каторжной.

Все дружно поддерживали его, потом пошло застолье, вместо десерта Аппельберг предложил только что пришедшие свежие, месячной давности газеты.

Набросились! Все газеты писали о коронации.

— Глядите-ка! — воскликнул Петр Анисимыч, которому достались «Московские ведомости». — Нашему близкому другу «Андрея Первозванного» пожаловали — выше не бывает.

— Это кто же — твой близкий друг? — полюбопытствовал Аппельберг.

— Как кто? Граф Дмитрий Андреевич Толстой!

— Ну, а что же ты хочешь? Министр внутренних дел — опора царя, надежда отечества.

— А Победоносцеву что? — спросил Лука.

— Победоносцеву? — поискал Петр Анисимыч. — Есть и Победоносцев. Отныне этот господин — кавалер ордена святого Александра Невского.

— Лакеям самодержавия — святыя ордена святой Руси! — Апфельберг поморщился. — И хватит о всей этой сволочи. В Москве вот новая выставка художника Верещагина. На Софийке, в доме Торлецкого. В Малом театре — «Горе от ума», после спектакля актер Горбунов прочтет сцены из народного быта. В Большом — балет в постановке господина Петипа... Хотя бы на один денек, одним глазком...

— Вы поглядите, какое объявленьице! — Петр Анисимыч даже привскочил. — «Бриллиантовое кольцо роскошной работы известного московского ювелира, весьма пригодное для парадного дамского наряда в предстоящую коронацию». Стоит всего-навсего шесть тысяч рублей. Сазоновна, берешь?

Все засмеялись, но невесело.

Лука, стрельнув по лицам умными глазами, заполняя паузу, прочитал вслух:

— «Расписание дней празднеств, обеденных столов, поздравлений и парадов по случаю священного коронования их императорских величеств.

8 мая, воскресенье. Выезд из Петербурга и приезд в Петровский дворец»...

— А я, это самое, — прервал Петр Анисимыч, — имел честь с его камердинером беседовать. Ей-ей, не вру!

— Это когда же ты успел! — удивился Апфельберг.

— Я много чего успел! Кто из вас у Казанского собора в семьдесят шестом году с переодетыми жандармами дрался? А я успел.

— Стало быть, ты, Анисимыч, участник первой русской политической демонстрации?

— А как же? Плеханова слушал. Под красным знаменем стоял. Человек сорок тогда наших арестовали. Чего успел? Я даже шефу жандармов Мезенцову предупредительные письма носил. Дурачком, это самое, прикинешься и несешь. Подкатывает, помню, рысак Варвар...

— Знаменитый рысак, — улыбался Апфельберг, — на нем Крапоткин из тюрьмы бежал, да и когда Мезенцова убили, на Варваре Кравчинский уходил.

— Одним словом, Варвар он, Варвар. Ну, значит, подкапывает на нем дама. Красавица, конечно. Останавливает коляску возле меня: «Пожалуйста». Сажусь. Дает она мне письмо и возле третьего отделения высаживает. Несу я это письмо через парадный подъезд, передаю адъютанту: «Будет ли ответ?» Адъютант письмо принял, понес куда-то, через минуту слышу: «Негодяй! Ответа не будет. Пошел вон!»

— Анисимыч, ты же про другое хотел рассказать! — возроптал Аппельберг.

— Про камердинера, что ли? Тут, это самое, когда мы на Новой бумагопрядильной фабрике устроили забастовку, рабочие стали говорить, что надо прошение наследнику подать. Лука, помнишь?

— Ты лучше скажи, Анисимыч, сколько мы за это дело оттрубили здесь?

— Это само собой. Помнишь, прошение нам Родионович написал... Ну, пошли подавать бумагу. Толпа здоровая, весь Невский запрудила. Тут, это самое, примчался помощник градоначальника Козлов. Я у него на пути и оказался: «Ваше превосходительство, народ желает говорить с цесаревичем. Просит улучшить положение рабочих». А он мне свое: «Разойдитесь. Если вам не нравится на фабриках, поезжайте на родину, откуда приехали». Я ему говорю: «Ваше превосходительство, зачем вы нас из города гоните? Где же нам, говорю, голову приклонить? С родины нас нужда вытурила. Мы ведь должны подати платить». — «Ах, говорит, подати платить! Взять его!» Тотчас меня схватили и — во дворец, в пожарное отделение. Тут и пожаловал камердинер этот самый. «За что, спрашивает, вас арестовали?» Я ему: так и так. «Грубостей не говорили?» — «Нет». Ушел. Минут через пятнадцать прибегает Козлов и давай орать: «Не только в Сибирь, но и за Сибирь загоню!» А тут опять появился этот самый камердинер и говорит Козлову: «Извольте к цесаревичу». А мне что? Сажу. Прибегает, это самое, Козлов. Белый как снег, ласковый, нежный. «Голубчик, говорит, цесаревич ничего сделать не может. Пока он еще не имеет на это прав. Поди и скажи рабочим: если хотят, пусть работают, а не хотят, пусть ищут, где лучше. Насильно заставлять работать их не будут».

Я пришел на фабрику и говорю: «Ребята, держись! Наследник комиссию обещал прислать, дело наше по правде разберут».

Тут в «Новостях» статью о нашей стачке пропечатали. Акции Новой бумагопрядильной стали падать, и хозяева поспешили отступить.

— Ну, теперь-то прав у бывшего цесаревича предостаточно,— сказал серьезно Аппельберг,— только дела еще хуже пошли. Рабочих тысячами на улицы выбрасывают.

— Приедем домой, разберемся. Правда, Лука?

— Правда, Анисимыч.— Лука встал, улыбнулся виновато, но и радости не скрывая.— Пора нам. До Красноярска не близкий путь.

Все разом поднялись. Пошли объятия, слезы, торопливо писали адреса, надежно прятали письма.

По Сибири ехать еще тысячи и тысячи верст, но думами и Лука, и Анисимыч, и Сазоновна были уже дома, в России.

II

Из Красноярска в Ачинск, из Ачинска в Мариинск, из Мариинска в Томск — все лошадьми. Из Томска пароходом до Тюмени, потом опять лошадьми до Екатеринбурга, от Екатеринбурга поездом — в Пермь, из Перьми пароходом до Нижнего Новгорода, от Нижнего поездом до Москвы и еще раз поездом до Орехово-Зуева. Тут и дороге конец.

Местечко Орехово-Зуево для того и явилось, видно, на белый свет, чтоб человек отсюда, отмучась, шел прямо в рай.

Но многих насчет рая брало сомнение. Что в Зуеве, на левом берегу Клязьмы в Московской губернии, что в Орехове, на правом, во Владимирской, кабаков и питейных заведений столько поставили, что потекли еще две реки. Обе зеленые, глубины немерянной. Тонуло и пропадало в этих реках людей видимо-невидимо.

Никто в Орехово да Зуево силком не тянул, сами шли пропадать.

Казенный казарменный стол, взятый от окна и втиснутый между железными высокими кроватями, на которых и сидели, принял всех, самых близких и самых дорогих людей.

Тесно было, душно, но хорошо.

Уселись за пиршество с утра и уже поутомились есть, а все

сидели, все поглядывали друг на друга — вон ведь как славно среди своих.

Петр Анисимович, высвобождая затекшие плечи, откинулся назад на прямые руки и, в который раз оглядывая вытянутый прямоугольник каморки, огромное, перекрещенное многократно окно, полати над дверью, широко раздувая ноздри, втянул в себя воздух и с удовольствием покрутил буйной своей головушкой.

— На подневольном-то приволье все думалось мне: чего-то не достает. А чего, не мог понять. А тут, в духоте, сердце как бы на место встало. Лука, дух чувствуешь?

Все потянули носами, засопели, засмеялись.

— Страшная духота! — отирая лоб, сказал Лука. — Пойдемте на Клязьму. День пропадает.

— Ты погоди, погоди! — остановил его Анисимыч. — Духота — это верно, но есть в здешнем воздухе, это самое, чего вовек и нигде не забудешь.

Сазоновна запустила длинные пальцы в рыжий стог пышных его волос и, застеснявшись нежности, выказанной при всех, оттолкнула чуток:

— Мудрец!.. Спой лучше.

— Для моей песни — в казарме тесно.

И, как всегда, разом, без передыху, испугивая птиц с деревьев под окном, взвился замечательным своим козлетоном:

Как на улице Варваринской
Спит, храпит мужик Камаринский.

— Свят тебя, свят! — замахал руками отец и зажал уши.

Лука Иванов, зная фокус друга, повалился от смеха грудью на стол.

— Ну, силен!

— Могу и кое-что потише:

Отпустили крестьян на свободу
Девятнадцатого февраля.
А земли-то не дали народу —
Вот вам милость дворян и царя.

— А ну, довольно! — Отец, толкнув стол, вскочил. — Катерина, поди глянь! Не слышал ли кто?

Сазоновна вышла.

Отец, не глядя на сына, сказал:

— Пока у меня на квартире живешь, не моги! У нас ушей и глаз довольно. На каждого есть и уши и глаза... Так что смекай. Одуматься пора, тридцать лет с годом. Не маленький.

— Верно,— вздохнул Анисимыч,— не маленький.

— Отец прав,— сказал Лука. — Лихачество — глупости сродни.

Вернулась Сазоновна, все посмотрели на нее.

— В коридоре пусто.

— Вишь, пусто. И не буду больше. Съезжу в волость, получу паспорт и к Морозову, с шеи твоей долой, отец.

Отец обиделся:

— Не о том речь.

— Говорю, не обижайтесь! Пошли, Лука, погуляем... А ты, Сазоновна, собери меня в дорогу, завтра и поеду.

— Начало лета, а кусаются, мерзавцы, как перед осенним издыхом.— Писарь, багровый от гнева, гипнотизировал беспомощными, жидко разведенными, еле голубеющими глазками черную муху, которая только что прошла по голому от учености темени и теперь сидела на девственно чистом развороте паспорта.

Рука у писаря дернулась к мухобойке, сотворенной из палки, гвоздика и дырявой стельки, но муха тотчас поднялась, пробежалась по темени писаря и, приглашая погоняться, села на грудь императора. Император глядел со стены на подданных без снисхождения.

— Вот что, братец, приди-ка ты завтра! — взмолился писарь, обмякая и растекаясь по присутственному креслу киселем.— Сам видишь, в пяти книгах смотрел — нет тебя. Будь любезен, братец.

— Не могу я завтра,— отвечал проситель, человек роста малого, но телом — пружина и таран, а глазами — тертый озорник! Неуживчивые глаза, себе на уме. На что ни поглядят, тотчас и сообразят нечто. Городская, столичная свобода.

И поизмывался бы писарек всласть над просителем, ненавидя эту человеческую свободу и достоинство, потягал бы его, глядельщика, постоял бы он у него до упаду, насиделся бы до изнеможения, но в ту минуту, когда злое вызрело в писаре, из-за тесовой перегородки боком выпростался через дверной

проем волостной старшина Ануфрий Харлампиевич. Двенадцати пудов, без сапог, поддевки и медали; головою до потолка в упор, рыжий, как мартовское солнце.

Глянул Ануфрий Харлампиевич на просителя, углядел и взрокотал яко с небес:

— Коли паспорт ему — выдай. Пушай в городах смрадят!

— Слушаюсь,— привскочил с кресла писарь, кланяясь, как крестьян, мелко, торопко и многократно...

— За жалованной пошел,— сообщил писарь с патристическим восторгом, любовно глядя на затворившуюся за великаном дверь.— От государя покойного за военное геройство жалован ежедневной чарой. И новым государем замечен. На царском обеде в кремлевских садах, по случаю коронации, не только присутствовал, но и преуспел. Было со всей матушки России шестьсот тридцать волостных старшин, а наш Ануфрий Харлампиевич как в еде, так и в питейном деле был наипервейший, без всякого на то сомнения. Вровень никто с ним не шел, а всякие попытки угнаться предупреждал решительно.

— Фигура! — искренне и щербато разулыбался проситель.

— Вот именно-с,— расцвел писарь.— Фигура-с. А потому слово Ануфрия Харлампиевича для нас — закон и благоговение.

Перо, подхваченное со стола, нырнуло в чернильницу и...

— Послушай, братец,— опять приходя в замешательство, затосковал писарь,— у тебя ведь и впрямь нет фамилии. Как же можно написать тебе в паспорт фамилию, как ты этого требуешь, когда ты бесфамильный.

— Не я — закон требует. И разрешение исправника у меня на то есть.

— Разрешение-то есть, и у Ануфрия Харлампиевича — желание поскорее от тебя избавиться, но мне-то как быть?

— Пиши уличную нашу фамилию. Нас по-уличному кличут Мосеенки. Пиши Мосеенок, Петр Анисимович.

— Угу!.. Пожалуй, это можно.— Писарь потер ладонью темя, опять обмакнул перо в чернила, поглядел на это перо, не будет ли кляксы, и красивыми круглыми буквами начертал: «Моисеенко».

В груди Петра Анисимовича заметался ежик. Сграбастать бы паспорт и давай бог ноги, пока писаришка ошибку не раз-

глядел или бы урядник не нагрянул — не давать, мол, паспорта такому-сякому.

«Моисеенко» — сверкает в паспорте новенькая, никому не ведомая фамилия. Чернила сохнут медленно, и надо не сплеховать, не выказать радости: у чиновных крючкотворов и радость небось на подозрении.

«Господи, до чего же тягучи твои минуты!»

Но все идет своим чередом. Чернила просохли, паспорт вручен.

— До свидания.

— Будьте здоровы.

Как бы нехотя притворена дверь, по улице — вразвалочку. А ноги и впрямь ватные, от радости.

Прощай, смоленщина-деревенщина, гласный надзор, исправники, жандармы. Поищите-ка теперь, господа, ссыльного бунтаря Анисимова! Сколько будет угодно, господа. Канул Анисимов, а с Моисеенко вам заводить знакомство заново.

* * *

Соседи по вагону были говоруны, и Петр Анисимович, опасаясь нарваться на шпика, захватил место у окошка и то подремывал, а то и притворялся, что дремлет.

Ехали все больше мужички. О сенокосе толковали, прикидывали, каков будет урожай, парнишку разыгрывали. Ехал парнишка по чугунке первый раз в жизни, ехал поступать в ученики к владельцу башмачной лавки, купцу третьей гильдии господину Заборову.

— Старуху-то целовал? — спросили мужики паренька, переминувшись между собой.

— Какую старуху? — удивился парнишка.

— Да ту самую, сопливую. Кто первый раз по чугунке едет, обязательно должен старую чмокнуть.

Парнишка все вертелся, но тут притих, с тоскою поглядывая в окошко.

Новоиспеченный Моисеенко перестал спать.

— Не дрейфь! Старуха трепачей любит, а ты, я погляжу, языком попусту не мелешь. Правду я говорю? — спросил у рассказчика.

Мужик улыбнулся, потрепал парнишку за вихры.

— Не обижайся. Необидчивому жить легче. Дорога длин-

ная, скуки ради чего только не нагородишь, да и наслушаешься вдоволь всякого.

Парнишка заметно повеселел.

«В чужие люди едет,— подумал о нем Моисеенко,— ему теперь любое хорошее слово как родня».

И сказал:

— Ты, паренек, коли у Заборова твоего худо будет, в Орехово-Зуево, на фабрику, приезжай. У нас, ткачей, работа трудная, зато не пропадешь. Я вот делу-то учиться не ленился, и теперь — больно уж здорово. Как встану к станку, так любому хозяину — нужный человек. Добрый плохо заплатит, пойду к злему, у злого надоест — вернусь к доброму.

— Ишь ты, хваткий какой! — ощерил в улыбке красные десны мужик-рассказчик.

— Фабричные все такие! — неодобрительно откликнулся седой старик.

— Зато за себя постоять могут! — возразил ему молодой.

Посыпались вопросы: куда, откуда да так ли уж хорошо на фабрике?

Моисеенко подсадовал на себя: хотел проехать тишком да молчком, а собрал общество. Того гляди, жандарм пожалует.

Но поезд уже бежал мимо московских домов. Мужики засуетились. И Моисеенко поспешил сойти первым, поймав на прощание доверчивый и тоскующий взгляд мальчишки.

В Москве у него было одно только дело. Нужно было передать письма Аппельберга. Адресат проживал на Ильинке.

От вокзала топать да топать, но посчастливилось — попался кабриолет, который доживал на грозных московских мостовых последние свои деньки.

Городское начальство, дабы снизить процент происшествий — из кабриолетов выпадали, — указало: новых не делать, старых не чинить. На Ильинку доехал за десять копеек. Нашел дом, квартиру. Открыла ему прислуга. Открыть открыла, но цепочку с двери не сняла: кто да зачем.

Моисеенко рассердился:

— Хозяина позови!

Однако пришел не хозяин, а хозяйка. Молодая, строгая.

Дверь открыла, но дальше порога не позвала. Оглядывала подозрительно.

— Позовите мужа,— самым вежливым голосом попросил Моисеенко,— у меня к нему дело. Письма.

— Но муж занят. Он по утрам работает.

— Как хотите. Я уйду и больше не приду, а письма выкину.

— Ах да, письма! Но откуда?

— Из Сибири! — грянул в ярости Моисеенко.

— Тише, тише! — бледнея, дама поднесла руки к своему рту и плотно прикрыла его обеими ладошками:— Я... сию, сию минуту.

Метнулась в комнаты, зашептала на всю квартиру:

— Эдуард, к тебе, от Ореста!

Сразу же вышел быстрый крепкий господин. Глянул посланнику в глаза, пожал ему руку, пригласил:

— Прошу ко мне!

— Ну, уж нет! — заартачился Петр Анисимович.— Вот вам письма, и будьте здоровы.

— Да не сердитесь! Вот уж право! Пойдемте посидим. Расскажите, как там...

— Недосуг мне, господин хороший.— Поглядел в потолок, на люстру.— Живут и там. Хариуса едали? Очень сладкая рыба.

Сунул в руки господину сверток с письмами и вышел, крепко прикрыв за собою дверь. Хоть и знал, что зря ушел, господин-то симпатичным показался, но уж все равно.

На улице вспомнил, что пора бы и поесть. Ильинка, правда, не та улица, чтоб и дешево и сердито. Улица фабрикантов и фирм. Вон какие окна: на тройке заехать можно. Во времени матушки Екатерины на Ильинке торговали самыми модными вещами. Голландские высокие лошади цугом несли витиеватые кареты с толстыми гранеными стеклами на дверях. Кучера в пудре. Гусары и егеря на запятках. Перед экипажами скороходы. А в витрине оповещение: «Господин Бергун рекомендует новейшие духи «Вздохи Амура».

Протопал Петр Анисимович мимо прошлой и нынешней роскоши, сердитый страсть, и отмяк только, когда очутился между Владимирскими и Проломными воротами — на толкучке.

Своя стихия.

Мужички, мешаночки, рабочий люд.

Торговки, сидя на огромных горшках, зазывали отведасть горячих щец.

Подошел к одной.

Поднялась с горшка, сняла крышку. Плеснула в чашку два половника с гущей, добавила жижи, кусок хлеба выдала; и за все горячее удовольствие — две копейки.

Поел, «спасибочко» не забыл сказать и двинул на Красную площадь к Верхним рядам, где помещалась пирожная биржа. Тут и пирожники сновали, гладко чесанные, с ящиками на ремнях через плечо. Пять копеек — пара.

Сыпались привычные прибаутки:

— Дяденька, у тебя пироги с тряпкой!

— Ах, сукин сын! Ты, может, за две копейки-то с бархатом захотел?

Здесь Петр Анисимыч задумался маленько. Нужно и жене подарочек купить и отцу, да и новую фамилию обмыть не грех.

До Бубновской дыры ближе всего. Нырнул.

Двадцать ступенек вниз — и вот они, знаменитые бубновские каюты. Стол, четыре стула, невеселые газовые рожки.

Здесь пивали самые знаменитые московские пьяницы. Пивали на спор по шестидесяти рюмок за вечер. Пивали приказчики и купцы. Иные так и сиживали здесь с утра, зарабатывали бубновский почет. Многолетний посетитель у Бубнова имел скидку.

В бубновской дыре гудело, как в улье, но Петру Анисимовичу гомон не мешал. Он думал сразу обо всем. О мальчишке, который уже небось получает подзатыльники от приказчиков купца третьей гильдии Заборова. Вспомнил прислугу с барынькой и самого барина, которому письма передавал, богатейшую Ильинку, растрепай-толкучку, пирожников. Кремль, соборы. Сколько там попов, генералов, начальников. И вся эта тьма-тьмуша богатых и богатеньких людей и людишек сядут, как на фабрику-то он пойдет, на его шею и поедут.

Анисимыч невольно потрогал рукою крепкую короткую шею свою и даже похлопал по ней.

— Чем господин удручен-с?

Анисимыч и не заметил, как официант поставил перед ним заказанное и как у самого края стола, сидя на краешке стула, примостился тип с зелеными впалыми щеками и фиолетовым носом. Глазки глянули на него заискивающе, со страхом и с мольбой.

«Черт с ним! — подумал Анисимыч. — Одному все равно скучно».

— Давай-ка, приятель, за то, что пока одному мне ведомо.

— Имею честь с изобретателем? — В глазах так и замелькали счастливые звездочки, а дрожащая рука тотчас ухватила фужер. Ухватила, но поднять не смогла — ходуном. — От волнения-с, — пояснил виновато тип и пустил на помощь другую руку.

Выпил, сморщился и порозовел.

— Теперь хорошо. И руки уже так дрожать не будут. Иной раз только с помощью полотенца и заглотнешь.

— Это самое, как же это?

— А так. Обернешь руку с рюмкой и тянешь через шею, а иначе — никакой возможности... Вы-то, я вижу, человек не из местных.

— Бог миловал.

— Это вы правильно говорите... Бубновская дыра — погибель души, сердца, всей жизни. А впрочем, и вся-то жизнь — дрянь... Многие прибегают... — Он щелкнул по графинчику. — Да-с, многие! — понесло пьяницу. — Идешь по Сретенке, а они — метут. И заметьте себе, обоего пола. В цилиндрах попадают и, знаете, дамы. Самые настоящие. И метут-с.

— Это самое, чего-то я не пойму. Кто метет?

— Наш брат, господи! Перепьют, лягут, ну и в участок, а наутро — Сретенку мести.

Анисимыч поделился было яичницей, но тип отмахнулся с отвращением:

— Нет, избавьте! Не могу и глядеть! С вашего позволения, еще бы. — Он опять щелкнул по графинчику...

— Я провожу вас, — увязался благодарный пьяница за Анисимычем, когда тот закончил свой обед. — Вам будет интересно. Я тут всех знаю — старый, очень старый воробей... Вот-с видите? Два господина. Один, что повыше, — Сугробов, бас. Чудный бас, великий, но тоже... Наш. А с ним Петр Антонович Мамонов. Купец. Этот наоборот. То есть во всех смыслах наоборот. Трезвенник, к тому же тенор. За то, что поет, за допущение, так сказать, на клирос регенту по три рубля каждый раз платит, а мальчикам — хору — по двадцать копеечек каждому.

Шли Гостиным двором. Крутились мальчишки, приказчики, зазывая, кланялись. Народ, народ. Туда, сюда.

— А вот-с, обратите ваше внимание, тоже по-своему весь-

ма знаменитый человек. Господин Червяков. Вон видите, у самых глаголей¹ лавочка. В крылатке, высокий. Вечная крылатка, вечный цилиндр. Даже в лютый мороз — цилиндр. Каждый раз опечатывает свои шкафчики более часа. Помолится, уйдет, а через десяток минут обязательно вернется проверить печати. И так раза три. Уйдет и тотчас воротится... И на этого обязательно посмотрите. Меняла Савинов. Чудак из чудачков! Не пьет, упаси бог! Ест, как воробей. Но вот наступает день. Савинов берет тройку и с утра до вечера катает по Красной площади. Это зимой, а летом у него другое. Наденет белый костюм, на голову — колпак, тоже белый, сядет на Тверском бульваре на лавочку и палец показывает. А на пальце у него перстень, с огромным, с очень-очень дорогим бриллиантом... Как тут не запьешь.

Тип остановился и, заглядывая Анисимычу в глаза, совершенно по-собачьи, с преданным восторгом, спросил:

— Копеечку бы.

Анисимыч дал и ушел. Быстро купил традиционный платок — Сазоновне, табаку — Луке, отцу же, чтоб задобрить старика, пошел икону выбрать.

В лавке стояли старик с сыном. В добрых поддевках, приглядывали дорогую икону. Купить икону было нельзя, иконы не покупали, а выменивали. Так и говорили:

— Я желал бы выменять вот этот образ.

Продавец снимал картуз и назначал цену. Коли заламывал, выменивающий произносил опять-таки условную фразу:

— Покройте голову и возьмите половину божеской цены.

Пока Анисимыч выбирал, выбрали икону и эти двое. Продавец запросил ни много ни мало — двести рублей. Сын вопреки поглядел на отца и сказал:

— Можно дать: арц, иже, покой.

Отец сердито шевельнул бровями.

— Нет! Довольно будет: твердо, он.

У купцов тайный язык в моде был. Возьмут свою фамилию, скажем, Мельниковы, и каждую букву обозначат цифрой, от одного до десяти. При людях цену между собой обговаривают, а какая цена, никто, кроме них, не знает.

Поговорили этак, и положил перед продавцом старик девяносто рублей. Тот подумал и взял деньги.

— А мне за рублишко, — попросил Моисеенко. — Николу...

¹ Угловые здания торговых рядов назывались глаголями.



РАЗБОЙНИК ЧУРКИН

I

У

строились.

Петр Анисимович Моисеенко, званием крестьянин — фабричные все в прошлом крестьяне, — был принят на фабрику Морозова ткачом.

Посмотрели — умеет. Дали пару дряхлых двухаршинных станков, основа миткаль, и работай. Подмастерье, обязанный налаживать станки, тоже смекнул: новый ткач — умелец. Показал, где лежат гаечные ключи, — налаживай сам, не ленись.

Екатерину Сазоновну взяли на ту же фабрику, только станки дали попроще, аршинные.

Лука уехал. Ему тоже нужно было получить паспорт. Поехал в Гжатский уезд, на родину.

У Морозовых — сдельщина. Работал Петр Анисимович, старался себя показать. Да плохо-то он и не смог бы. Первые сработанные куски были сданы в контору и записаны в расчетную книжку.

На следующий день Моисеенко позвали к браковщикам.

Пришел, а там — очередь. Ткачи и ткачихи в затылок стоят, и Сазоновна тоже тут.

— Тебя-то зачем сюда? — удивилась: знала, что Анисимыч отменный ткач.

Плечами пожал. Непонятное что-то делается. Браковщик выкрикивает номер станка, ткач или ткачиха подходят, книжки заранее открыты, браковщик товара не показывает с порчей, пишет штраф — и гуляй.

Ткачество, конечно, дело тонкое: тут может и близна быть — это когда нитка оборвется, а ткач не углядит; недосека, плетьюна, то кромка нехороша, то товар нечист.

Сазоновна впереди мужа стояла, подала книжку, ей записали, она глянула — и глаза на мокром месте: много, видать, содрали.

О морозовских штрафах Анисимыч слышал, а теперь вот и на своей шкуре довелось испытать. Ткачи ругаются потихоньку, ткачихи многие плачут, но ни одного слова поперек.

— Моисеенко!

Подошел.

— Давай книжку.

— Для чего?

— Записать штраф. Кромка нехороша.

— Ах, кромка... Товар покажите.

— Какой еще товар? Нет товара!

— Товара нет и книжки нет. Кромка у меня хороша. Подписано мастером Шориным.

— Мы знать ничего не знаем! Штраф должен быть за порчу.

— За порчу — правильно, штраф положен. А за хороший товар вы должны записать премию. Если вывешенные правила не брехня. Книжку я вам не дам, штрафа не признаю, с тем и до свидания!

Повернулся и пошел. Браковщик мимо чернильницы ручку ткнул, перо дзинь — сломалось. Звякнуло на весь коридор, так тихо было. Глядят ткачи на мужичка лихого — не понимают. У ткачих страх в глазах.

Моисеенко мимо очереди спокойно прошел, не пыжился героем, сочувствия или одобрения у бедных штрафников не искал.

Сказал и сказал. Пошел себе и пошел. И за работу.

Стали ткачи к станкам его подходить. Удивляются.

— Как же ты на этих допотопных работаешь? Они ж брошенные были... А работа хороша. Али основу сменили?

— Основа та же. Где подтянул, где подвинтил — тянет по-маленьку.

— Мы и глядим, в разговоры пустился. Такому ткачу, по-

жалуй, и поговорить можно. Видать, знаешь себе цену. Семья-то, однако, большая?

— Сам да жена.

— Вот оно! Тогда, конечно!

— А что конечно-то?

— Да то! Я, к примеру, любой штраф стерплю.

— Работать не можешь?

— Работаю не хуже твоего, только у меня по лавкам шестеро. Погонят — куда я?

— У меня хоть четверо, а тоже...

— Тут, у нас, давят, не стесняются. Терпим.

— Оттого и давят.

— Прыткий ты больно! Ты пойми, куда нам, голытьбе, кинуться? В петлю — грех, да и детушек оставить в безотцовщине нехорошо. В деревню вернуться — с голоду подохнешь.

Корявый, как клещ, ткач хихикнул:

— А хуть мы и есть кормильцы! Мед, что ли, бабам да деткам от нас?

— Одно горе, — согласились ткачи. — Наломаетесь, а тебе еще штрафом по башке. Ну и в кабаки... А потом бабу свою гонять. Детишек колотить. Все вино на своих же и выместишь.

Кто-то шепнул:

— Шорин идет!

Не то что разбежались — шмыгнули россыпью ткачи, как мыши.

В груди Анисимыча заныло.

* * *

В тот день перебирались от отца из Дубровки на новое жилье, в морозовскую казарму, в Орехово. Пожитков было хоть немного, но пришлось нанять телегу, из Дубровки до казармы верст семь-восемь.

Ехали вдоль Клязьмы.

Августовское, вечернее небо словно куполом накрывало утомившуюся за день тихую землю и само было спокойное, синее. Только в самом зените, над головой, собирались крошечные комочки белых облаков.

— Как цыплята, — сказала Сазоновна.

Анисимыч задрал голову, поглядел, вздохнул. Показал за реку, на простор малиновских лугов:

— Видишь парок?

— Вижу белое.

— Туман,— сказал возница,— не вредный, парной. Лето, чай!

Телега скрипела одним колесом, и, словно бы в ответ, в лугах заскрипел торопливо, в перегонки, коростель.

— Вода в реке небось теплая,— сказал Анисимыч.

— Как молоко парное,— согласился возница.

Был он стар, потому и говорлив.

— А я вот годов, никак...— Анисимыч поймал себя на слове и замолчал.

— Чего говоришь-то? — не понял возница.

— Не купался, говорю, давно. Все забота да работа.

— Сними портки да поди искупайся. Река-то вон она.

— А и верно! — засмеялся Анисимыч.— Вон она, голубушка... Ты и впрямь остановил бы. Пойду скупнусь. Когда еще время выпадет?

— А я? — спросила Катя.

Поглядел на нее. И правда — не Сазоновна, а Катя. Волосы в две косицы заплела. Молодая совсем чего-то. Рада, что теперь угол свой будет.

— Да и ты ступай,— милостиво разрешил старичок.— Небось никто не подглядит. Ночь скоро. А мне, по годам моим, без надобности зырки пялить.

Раздевались, отгородясь ивовым кустом.

— Песок-то мокрый, рекой пахнет! — сказал Анисимыч, звонко шлепая комаров. И тотчас опять воскликнул радостно: — Тепло!

Медленно зашел в воду, присел, поплыл.

— Чего копаешься так долго?

Она засмеялась у него за спиной. Обернулся.

— На середке! Да как же ты, это самое?

— Нырнула!

Он погнался за ней, а она убежать не стала.

— И чего это я тебя все Сазоновной зову? — покаялся Анисимыч.— Катя. Катерина. Нравится?

— А мне по-всякому нравится, лишь бы ты мне говорил.

— Иву чуешь? Листом так и благоухает.

— Поплыли к берегу,— попросила,— стыдно все-таки. Старик ждет.

Поплыли. Медленно, чуть разводя руками. И река тоже лилась ровно, бесшумно, но сильно.

— Вон как снесло-то! — удивилась и ужаснулась Катерина. — Как же это я теперь?

— Принесу!

Выхваляясь перед женой силой, Анисимыч на саженьках пошел навстречу течению и хоть и запыхался с непривычки, но одолел. Силенка, слава богу, была.

* * *

Приехали в казарму поздно. Помочь разгрузить вещи вышли соседи, молодые парни Матвей Петров да Ефрем Скворцов. Они и работали на одной с Анисимычем фабрике, в одной смене.

— Чуркина не повстречали? — спросил резвый на язык Ефрем.

— Какого Чуркина? — удивилась Катя.

— Разбойника.

— Разбойника?! А он что же, тутошний?

— Наш! — гордо сообщил Ефрем. — Гусляцкий. О нем теперь в газетах пишут.

— Ага! — поддакнул Матвей. — Мы аж в библиотеку, хотя и неграмотные, ходим. Там один читает про него, в газетах.

Сердце у Анисимыча дрогнуло.

«Надо сходить в библиотеку, — подумал, — поглядеть, каков народ».

* * *

На следующий день, не откладывая задуманного, Петр Анисимович пошел записываться в библиотеку. Читателей набралось человека три-четыре, зато слушателей человек с тридцать.

Сам он взял «Вестник Европы», сел подальше и не столько читал, сколько поглядывал. Скоро пришел молодой конторщик, чтец, спросил газету «Московский листок» и стал читать собравшимся новую порцию из бесконечного романа о разбойнике Чуркине, стряпню редактора «Листка» господина Пастухова.

Глава была не так уж и плоха, и Моисеенко, отложив свое чтение, стал слушать, вглядываясь в лица рабочих.

— «Однажды пристав первого стана господин Протопопов,— читал конторщик,— благодумствуя за чайком, сидел в своей квартире, размышляя, куда бы отправиться поиграть в пеструшки, как вдруг к нему входит рассыльный и докладывает:

— Ваше благородие, мужичок из деревни Дубравы вас спрашивает.

— Что ему нужно?

— Не могу знать. Тайна какая-то есть до вас.

— Пусть войдет.

Немудрый, взъерошенный, одетый в зипун мужичонко ввалился в кабинет пристава, отвесил ему поклон и остановился у двери, выжидая вопроса.

— Что скажешь, любезный? — спросил его Николай Алексеевич.

— К вашей милости с докладом пришел.

— О чем такое?

— Чуркин в нашей деревне появился.

— Врешь ты!

— Провалиться на сем месте, правду говорю! Я с ним вчера вместе был.

— Где, у кого?

— У моего соседа, Василия Федорова Тонкого — он ему сродни доводится, — вот об этом и доложить вам пришел.

— Спасибо, братец, я тебе за это заплачу.

— Если вам угодно изловить его, то надо сегодня ночью, а то, пожалуй, уйдет куда-нибудь.

— Непременно, сейчас едем, — сказал пристав и приказал запрягать лошадей, а мужичку саморучно налил водки, выдал за труды трешницу и сказал: — Поймаем, так прибавлю.

— Благодарим покорно, мы не из-за денег стараемся, а больно уж он нам надоел, ваше благородие.

— Ну хорошо, ступай на крыльце подожди меня, мы вместе поедем.

Мужичок, почесывая затылок, удалился. Пристав стал собираться в дорогу. Зарядил револьвер и послал в трактир за сотским. Тот явился и получил приказ быть готовым к отъезду...»

Чтец сделал остановку для отдыха, а слушатели побежали тотчас в коридор перекурить. Моисеенко тоже вышел со всеми.

Матвей Петров углядел его, поздоровался за руку.

— Слышал? Сильная штука!.. Ты вот грамотный, как думаешь, поймут?

Ткачи с любопытством поглядывали на грамотея из своих: угадает или нет?

— Должно быть, это самое,— сказал Моисеенко,— не поймут.

— Так ведь — шепнули. Он-то, Чуркин, ничего не ведает. Может, с ночного дела, спит, как ангел.

Матвей Петров возмутился:

— Скажут же, ангел. Какой же он ангел, коли разбойник.

— Да так, к слову,— отмахнулся говорливый ткач и опять пошел в наступление на Моисеенко.— Ты вот что, любезный, скажи. Ты и вправду грамотный?

— Читаю, пишу, считаю.

— А мог бы, как он,— на конторщика кивнул,— вслух?

— Отчего же не могу — могу.

— Н-да,— недоверчиво покрутил головой.— Так, значит, говоришь, не поймут?

— Не поймут. Коли поймут, роману конец, а это сочинителю Пастухову не выгодно. Ему за каждую газету деньги платят.

— Илюха ты, Илюха! — похлопывали приятели говоруна по плечам, гасили окурки, откашливались, приглаживали ладонями волосы.

Начиналась новая порция пастуховщины:

— «Перед вечером, упомянутая деревня Дубрава,— поплыл ровный голос конторщика,— расположенная под косогором, показала свои макушки. Пристав приказал кучеру сдержать лошадок и спросил своего соседа:

— Где твоя изба — среди деревни или с краю?

— В середине, ваше благородие. А вы мне позвольте слезть у околицы, а то увидят с вами — со света сживут, а то и избу сожгут. Народ у нас аховый, скажут: доносчику первый кнут,— попросил мужичок.

— Что ж, можно, слезай, а потом приходи в деревню.

— Как не прийти, приду. У Василия Федорова потаенные места во дворе есть. Чуркина, пожалуй, и спрячут, а я вам все тайники покажу.

Становой пристав в полной надежде на поимку Чуркина въехал в деревню и у первой попавшейся девочки спросил:

— Где тут Василий Федоров Тонкий живет?

Девчонка, увидав начальство, вместо ответа дала стрекача и скрылась в подворотне покачнувшегося набок домика.

В окнах избушки показались лица любопытных.

На улицу вышел деревенский староста, указал ему отыскиваемый домик, находившийся не в середине деревни, как донес становому его проводник, а почти что на краю ее.

— Собери, братец, несколько крестьян и приведи их ко мне сюда,— дал приказ его благородие старосте.

— Для каких надобностей? — полюбопытствовал тот.

— Не твое дело, про то я знаю, тебе что приказано, то и исполняй! — крикнул на него становой.

Собрались православные, атаковали по распоряжению начальства домик.

Василий Федоров, который не понимал, в чем дело, обратился к приставу и спросил:

— Ваше благородие, чего вы у меня ищете?

— Чуркина — он тут проживает.

— Да я его и в глаза-то никогда не видел.

— Рассказывай мне басни. Говори, где он, весь дом взрою! Ребята, ищите везде, осмотрите чердаки, подполье! Он теперь не уйдет! — кричал Николай Алексеевич понятным.

— Напрасно беспокоитесь, батюшка! Никакого Чуркина мы и не знаем,— ввязалась в разговор шустрая бабенка, жена хозяина дома.

— Как не знаете! Он вам родственник!

— Что вы, кто это вам сказал? — спросил Василий Федоров.

— Ваш сосед, Степан Акимов.

— У нас в деревне и мужика-то такого нет.

— Как нет? Я с ним вместе сюда приехал.

— Какой он из себя?

— Так, невзрачный, рыженький.

— Кто ж бы это был такой? — глубокомысленно задал себе вопрос староста деревни.— Кажись, у нас рыжих совсем нет.

— Он сейчас за околицей остался. Подите приведите его сюда,— горячился его благородие.

Мужички отправились по указанию и, возвратясь, доложили:

— Не нашли, ваше благородие.

— Следовательно, меня обманули, провели, негодяи».

Глава кончилась. Конторщик сложил газету.

— Вот, елки-палки! — первым вскочил Илюха. — Вот вить! Вот оно как!

— С носом пристав-то! — выкрикнул восхищенный Матвей. — Как он ему: «Провалиться на том месте, я с ним вчера был». А сам трешницу взял, и поминай как звали.

Загалдели, замахали руками, гурьбой пошли за конторщиком, спрашивая о чем-то. Настроение у всех лучше не надо: как же — пристава провели.

Моисеенко поднялся было следом, но не пошел. Вгляделся наконец в содержание «Вестника Европы». Сразу бросилось в глаза: «Стенька Разин», драматическая хроника.

Открыл, прочитал первые строки и забыл обо всем на свете.

Разин говорил:

Хоть церкви хороши,
Но в них нельзя жить постоянно людям,
А потому и строить их не след,
Пока в домах повсюду недостаток.
Палаты ваши — хитрая постройка,
Я видел их, хоть сам в них не жила,
Но на Руси от стариков слышал,
Что, кто в палате каменной селится,
В том сердце тоже в камень обратится.

— Вот что надо вслух читать! — обрадовался находке своей Петр Анисимович.

II

Вдруг пошел по фабрике слух: приехал молодой хозяин фабрику на свой лад переделывать. Штрафы отменяются, старых продавцов из фабричных лавок — долой: проворовались; старых директоров фабрик и мастеров-шкуродеров — долой. Кто по совести работает, тому и платить будут как положено, по совести. Сколько выработаешь, столько и получишь.

Слухи ползли, а Савву Тимофеевича что-то никто ни разу не встретил, и в доме хозяйском огонь как будто не прибавился.

А между тем слухи были не совсем ложны.

Савва Тимофеевич жил в эти дни на загородной даче, километрах в двадцати от Орехова, на Клязьме.

В конце июля выпали сильные, с грозами дожди, и теперь в сосновых борах, распирая землю крепкими, хрустящими

шапками, выбирались к свету в великодушном множестве белые грибы.

Савва не показывался на фабрике. Фабричный инспектор Владимирского округа доктор Песков где-то подзадержался, и Савва ничуть об этом не горевал. Отшельничать ему позволили только одни сутки, а на вторые прибыло общество. Директор правления Никольской мануфактуры Михаил Иванович Дианов с женой и двумя хорошенькими дочками, Анастасией и Варей.

* * *

Катались на лодке по Клязьме.

Белый песок дикого пляжа под луною мерцал и светился. Сосновые боры, неподвижные, черные, когда река поворачивала вдруг, тоже мерцали.

— Как луч на броне! — сказала тихо Варя. — Вы погляди-те, бор — это словно воинство, поднявшееся в полночь из-под земли.

— До полночи еще два часа, — улыбнулся Савва.

— Ах, как вы не понимаете! При чем тут часы? Это — образ! Вы, наверное, не любите и не понимаете стихов.

— Отчего же? «...У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том»!..

— Оставьте! Не смейтесь! Как вам не стыдно! — вскричала, рассердившись, Варя.

— А я не смеюсь. Я люблю это: «У лукоморья дуб зеленый...»

— Любите на здоровье.

— Господи, давайте помолчим! — попросила жалобно Анастасия.

Помолчали.

— Нет, я не могу! — воскликнула Варя. — Я не могу молчать! Такая луна — и без поэзии!

Я поклоны творю пред иконою
И не слышу, как сладко поют
Соловьи за решеткой оконною,
В том саду, где жасмины цветут...

Но когда, после долгого бдения,
Я на одр мой ложусь, на меня,
Сладострастием вея, видения
Прошлой жизни встают ярче дня.

Вот вам! Вот! И вы, конечно, не знаете, перу какого поэта принадлежат эти удивительные строки.

Савва медленно развернул лодку, поглядывая то на серебряный хвост за кормою, то на сердитую Варю.

— Ладно,— сказал он,— чтобы заслужить вашу милость, я тоже прочитаю стихи.

Голос у него был с хрипотцой, прочитал он не громко, но вкладывая в слова стихов весь тот сумбур, которым гудела его круглая, крепкая голова, и потому стихи прозвучали странно, до того странно, что обе девицы всполошились.

В этом «совсем мужике» было столько загадочного, столько серьезного — упаси бог, не о деловитости речь, а о высшей духовной серьезности,— что им тоже ничего не оставалось, как влюбиться. А прочитал им Савва следующее:

Нет, нет — наш путь иной... И дик и страшен вам,
Чернильных жарких битв копеечным бойцам,
Подъятый факел Немезиды;
Вам низость по душе, вам смех страшнее зла,
Вы сердцем любите лишь лай из-за угла
Да бой петуший за обиды!
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братьев?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Пред взмахом топора общественных понятий?
Нет, нет — наш путь иной, и крест не вам нести:
Тяжел, не по плечам, и вы на полпути
Сробеете пред общим криком...

— Чьи же это стихи? — спросила виновато Варя.

— Аполлона Григорьева.

— Григорьева?

— К сожалению, теперь это забытый поэт.

— Еще! Пожалуйста, еще что-нибудь. Если помните...

Над тобою мне тайная сила дана,
Это — сила звезды роковой.
Есть преданье — сама ты преданий полна,—
Так послушай: бывает порой,
В небесах загорится, средь сонма светил,
Небывалое вдруг иногда,
И гореть ему ярко господь присудил —
Но падучая это звезда...

— Давайте устроим сейчас дома гадание,— предложила Анастасия.— Сейчас самое время вызывать духов.

— И вызовем вашего Григорьева.

«Э, черт!» — выругался про себя Савва.

Он ловко и быстро причалил к берегу, помог девицам выйти из лодки.

— Так что же, погадаем? — опять спросила Анастасия.

— Нет, — сказал Савва. — Я не люблю.

Молча проводил растерявшихся девиц.

Разбудил кучера, приказал везти себя в Зуево, в игорный дом.

Вся дорога была лесом, и Савва с удовольствием поглаживал в кармане шеголеватую рукоятку револьвера.

«Дуры восторженные!» — выругал он девиц, чтобы поставить на этом происшествии точку.

Тащиться ночью лесом — не лучшее времяпрепровождение, но сидеть одному или, еще хуже, с этими птахами — он не мог.

Наконец засветились огни фабрик.

Слышно было, как стучит машинное сердце его владений. Работала ночная смена.

Переехали мост.

Зуево.

Прокатил мимо спящих деревянных домиков. Через окна был виден теплый свет лампад.

— К «Приюту весны»? — спросил кучер.

— Нет. Туда, где играют.

По берегам тракта, выводившего из Зуева на Владимирку, стояли знаменитые зуевские увеселительные дома. Они процветали вдали от московской полиции, ибо своей откровенной мерзостью притягивали самые тугие кошельки.

Хозяин игорного дома, некий Лачин, был в ту ночь в настроении. Играли довольно крупно и в то же время пристойно.

Савва взял карту, но ставку сделал совершенно мизерную. Лачин, который теперь все свое внимание уделял отпрыску властителей местечка, улыбнулся не без ехидства. Савва проиграл и тотчас полез в бумажник и поставил все, что у него было с собой. Прокатился по залу шепоток, наступила соответствующая моменту тишина, подняли карты. Выиграл отпрыск.

Он взял выигрыш. И сразу же покинул картежников.

Сыграл на китайском бильярде. Опять по маленькой. И опять первую игру проиграл.

И снова были поставлены все деньги. И снова — выигрыш.

— Не желаете ли на настоящем бильярде? — предложил

Лачин.— У меня прекрасный, совершенно новый бильярд. Как раз для такого случая.

«Для какого такого случая?» — подумал Савва и согласился.

Хозяин почтил гостя и сам сыграл с ним.

Подыгрывая Савве, он предложил ставку самую ничтожную и выиграл, но так, что партнеру должно было показаться: виновата судьба.

— Вторую? — Глаза у Лачина выражали подобострастие и готовность.

— Нет,— сказал Савва.— На сегодня хватит. Буфет у вас есть? Чаю хочу.

— Пожалуйста.— Лицо у Лачина стало вежливым и ледяным.

В нем закипела ненависть к сильным мира сего. «Мерзавец! Молокосос! Приехал, сорвал куш в две минуты — и чаю захотел!»

— Господа! — обратился Лачин к игрокам.— Скучно, господа! Не угодно ли со мною, на бильярде? Ставлю десять тысяч.

Это был вызов Савве, но тот словно бы и не слышал. Даже и не обернулся.

— Угодно! — откликнулся вдруг пожилой (ему бы внучат нянчить) полковник.

Все игры тотчас прекратились. Были сделаны ставки: на полковника и на Лачина. Игра пошла.

Видимо, слишком большое возбуждение Лачину вредило, а может, он заманивал, но проигрыш был полный, безнадежный.

— Ставлю еще десять! — сказал он так спокойно, словно уже вернул проигранные деньги.

Но и вторая партия осталась за полковником.

— Сорок тысяч!

Бильярд — не карты, блистательный игрок Лачин нарвался на игрока выдающегося. Он проиграл сорок тысяч, но остановиться уже не мог.

— Мы не эти! — приговаривал он, кивая в сторону буфета.— Мы — истинные игроки. Природные-с.

Следующей ставкой безыгнорный дом, и через полчаса его новым хозяином стал неизвестный москвич-полковник.

— Кажется, пропал,— слабо улыбался гостям белый как снег Лачин.— В маркеры теперь. Если возьмут.

— Возьму,— серьезно пообещал полковник.

— Ан нет! — вскричал вдруг Лачин. — Нет-с, мы еще продолжим. У меня еще есть шансик.

— Что же вы можете поставить? — спросил полковник.

— Жену, сударь! Собственную! Красавицу!

Творилось совершенно неподобающее и немыслимое, но никто не захотел вмешиваться.

Полковник пожал плечами:

— Приведите вашу жену сюда. Пусть она знает.

Лачин метнулся было, но госпожа Лачина вышла из буфетной. Очень красивая, в черном бархатном платье. Ей, видно, сообщили о проигрыше мужа. Вышла, села у окна, спиной к залу.

— Вот-с... — прошептал Лачин и мелко засмеялся. — Так что извольте!

Игра была самая ничтожная. Кий у Лачина срывался. Дважды подряд промазал. Наконец все было кончено.

— Едемте отсюда! — Жена Лачина встала с кресла, взяла полковника за руку и увела.

Заокали по булыжнику подковы тройки.

Игроки спешили разойтись.

— Да нет же, господа, оставайтесь! — уговаривал их Лачин. — Уверяю, ничего такого не позволю. Не подведу. Я же маркером оставлен. Вы ведь слышали.

Из буфета вышел Савва. С нехорошим любопытством разглядывал Лачина. Потрогал карман с раздувшимся бумажником. Усмехнулся и пошел на улицу. На мосту через Клязьму вытащил пачку ассигнаций и бросил на дорогу.

— Кому-то нынче счастье привалит, — сказал кучер.

Савва не ответил.

Остановил пролетку в тени деревьев, чуть в стороне от фабрик. Смотрел, как, ежась от утреннего свежего ветра, шли «на заработку» рабочие, делатели его денег.

III

В те августовские дни в семье Моисеенко случилось прибавление, приехала к ним на житье осиротевшая дальняя родственница Танюша. Одиннадцать годков, в деревне никому не нужна, у всех свои дети. Посоветовался Анисимыч с Катериной, решили взять воспитанницу.

Приехала, в уголок забилась. Позвали обедать — отщип-

нула хлеба, как воробей. Обьесть, видишь ли, благодетелей страшится: научил кто-то.

Поглядел Анисимыч, поглядел, взял денег из жестяной банки и ушел. Вернулся — не видать из-за свертков. Ситцу принес на платье, сладостей, кукол.

— Да куда ж ты, целых пять! — ахнула Катерина.

— Ничего, пусть играет! Ишь какие нарядные! Теперь у нас в каморке праздник.

Танюша как обняла свое богатство, так и замерла. Не верит ни глазам своим, ни ушам, ни тому, что от взрослых людей не одни только подзатыльники получать можно.

На фабрике переполох. Чистили, красили.

Работающих малолетних детей прогнали домой.

«Может, и впрямь молодой Морозов заводит новые порядки?» — подивился Моисеенко, но скоро все разъяснилось. На фабрику прибыл окружной инспектор. Чистый, внимательный господин, ходил, смотрел, спрашивал: кто ты, мужчина или женщина, грамоте умеешь или совсем не учен, каков заработок? О жилье спрашивал, просил книжку заборную показать.

Гаврила Чирьев смеха ради показал:

Заработал он 34 рубля 92 копейки, а в лавке за продукты взяли с него за месяц 37 рублей 63 копейки.

Поглядел господин хороший на человеческий муравейник, повздыхал, с тем и ушел. Тут как раз обед.

Обедал в перерыв Петр Анисимович дома. Вышел с фабрики, идет задумавшись, вдруг кричат:

— Дяденька!

Сначала не понял, что ему.

— Дяденька! — отчаянно так.

Оглянулся, мальчишка за ним бежит. Остановился и дух никак не переведет.

— Это я!

— Вижу, что ты! — А сам никак не поймет.

И вдруг осенило. Да ведь это вагонный дружок, что сопливой старухи на чугунке боялся.

— Здравствуй, дружище! Какими ветрами занесло?

— Я, дяденька, третий день тебя ищу!

Глазищи голодные, а радости в них — будто самого господа бога повстречал.

— Пошли! — сказал Моисеенко. — Путника сначала кормят, а уж потом и спрашивают.

— А я и так скажу. Ушел я от господина Заборова... В рабочее бы мне! Я сметливый, сильный. А ты, дяденька, сам говорил: рабочий человек не пропадет.

— Устроим! — пообещал Петр Анисимыч. — Ты скажи, зовут-то тебя как?

— Анисим!

— Ишь ты! А меня — Анисимычем. Петр Анисимов Моисеенко.

Устроить парнишку на фабрику оказалось не так-то просто. Инспекция! Все отмахиваются. Свою мелкоту приходится прятать. По закону детям разрешено работать с двенадцати лет по восемь часов в одну смену. Ночные работы детям запрещены. А их, детишек до двенадцати лет, сколько угодно у Морозова.

Анисиму двенадцать уже стукнуло, но в конторе слышать ничего не хотят. И, как на грех, на второй день инспекции — сразу две аварии: ставильщик, двенадцати лет, упал на веретено и бедро пропорол, а другому ставильщику, постарше, раздробило обе кости на правом предплечье. Руку отрезали.

Растерялся Петр Анисимыч, но тут прибыл на фабрику молодой Морозов. К нему и подошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! Чего желаете? Какая будет жалоба?

— Жалоб нет, но есть просьба.

— Какая же? — смотрит внимательно, ободряет взглядом.

— Паренек ко мне прибился. Ехал в учение в купцы, но торговля ему не по душе, хочет ткачом быть... А здесь не принимают.

— Сколько лет?

— Тринадцать.

— Неужели он не понимает, что доля свободного купца счастливее доли рабочего. По крайней мере, сытно, чисто и не так тяжело.

— Может, и сытно, но не так чисто.

— Да? — подпер одной рукой другую и подбородок на ладонь положил. — Ин-те-рес-но.

Савва стоит, смотрит на ткача, думает что-то, и все стоят — директора, мастера, — все стоят и тоже будто бы думают.

— У этого рабочего... как вас? — спросил Савва.

— Моисеенко.

Савва повернулся к директору Дианову:

— Примите на работу протеже ткача Моисеенко. Мальчику тринадцать лет... Он, вместо купеческой, избрал судьбу рабочего... Господин Моисеенко, мальчик ваш родственник?

— Нет.

— Примите и устройте на житье в приюте. Я очень прошу.

Савва Тимофеевич неспроста в разговоры с рабочими при всех пустился. Для фабричной администрации — пример: вот как надо с фаброй говорить, как с равными. Для рабочих этот разговор — памятка: молодой хозяин добрый, чего ни попроси, не откажет. Истинный благодетель. Для инспекции — намек: Морозовы никого не боятся. На других фабриках во время инспекции детей прячут, а на Никольской — взяли и приняли мальчика. Так вот и решилось дело.

На Никольской мануфактуре «Товарищества Савва Морозов, сын и К^о» было занято одиннадцать тысяч рабочих.

— На фабриках вашего отца, — одобрительно сказал Савве инспектор Песков, — процент грамотных людей довольно высокий — двадцать три процента.

Савва поглядел на доктора исподлобья и разговора не поддерживал.

— Школа у вас лучшая из всех фабричных школ. В классах светло, просторно. Вечером горит газ. Водяное отопление, есть вентиляция. Учебных пособий в изобилии, по воскресеньям учителя устраивают чтения с туманными картинами.

— На промышленных выставках ученики нашей школы всегда получают призы, — сказал Савва.

— И библиотека у вас прекрасная. Семь тысяч томов против тысячи томов у Викулы.

Савва улыбнулся самодовольно, но глянул на инспектора опять-таки исподлобья: к чему вести пустые разговоры, коли все хорошо.

Господину инспектору самодовольство Саввы не нравилось, он был рад испортить настроение юнцу капиталисту, а потому сказал, не скрывая насмешки:

— В школе у вас учат работать на станках разных систем — это прекрасно, но именно на вашей мануфактуре инспекция обнаружила серьезное нарушение закона. На ваших фабриках широко используется детский труд.

Савва покраснел и, кажется, рассердился.

— От десяти до двенадцати лет — прямое нарушение за-

кона — у вас работают десять мальчиков и семь девочек и плюс на отбельной фабрике два мальчика и одна девочка. От двенадцати до пятнадцати лет — триста девяносто пять мальчиков, триста три девочки и на отбельной соответственно пятьдесят и три. Вы скажете, что двенадцатилетние имеют право работать. Имеют, но не в ночные смены. У Викулы Морозова — вашего дядюшки — детей в работе занято в два раза меньше. На банкаброшах и ленточных машинах у вас работают исключительно девочки. Присучальщики, ставильщики, холостовщики — сплошь мальчики.

Савва молчал.

— А вот бани, общежития у вас действительно хорошие. — Инспектор Песков позволил себе улыбнуться: сбил спесь.

Савва понял это, поднял на инспектора рысьи глаза и, глядя ему в лицо, сказал с нарочитым высокомерием:

— Вы забыли сообщить мне, господин доктор, о нашем приюте для младенцев. Так вот, у нас, единственно у нас, есть при больнице приют с колыбельной на семьдесят коек. При детях смотрительница и двенадцать нянек.

— Савва Тимофеевич, я был в вашем приюте. Этот опыт пока действительно единственный на всю губернию. У вашего батюшки прекрасное сердце. На постоянном попечении в приюте восемь детей, отцы и матери которых умерли, работая на Никольской мануфактуре... Вы сами подумайте, одиннадцать тысяч рабочих, а приют на семьдесят детей.

— Вы хотите мне сказать, что товарищество мануфактуры пускает пыль в глаза? — Он смотрел на инспектора в упор, не мигая.

— Может быть, это самое я и хотел сказать, — спокойно, не отводя взгляда, согласился доктор Песков.

У инспектора типичное лицо честного человека, большой лоб с залысинами, рыжие брови, рыжая борода с проседью.

Савве тоже нравится быть честным, но он не признает этого права за другими. Его бесит господин инспектор, но надо терпеть. Каждый шаг, каждая беседа — это Савва знает точно — будет пересказана отцу.

— Для нескольких тысяч семейных рабочих приют на семьдесят коек мал, — соглашается Савва, — но ведь это первый опыт. Вам, господин инспектор, легко быть совестливым человеком, а моему отцу, при крайне ограниченных средствах, приходится думать о существовании всех одиннадцати тысяч. Их надо накормить, дать им жилье, научить их детей гра-

моте. Их нужно лечить, их нужно удерживать от модного ныне безверия. Нужно следить за ними, как за малыми детьми: пресекать драки, пьянки, распушенность.

Инспектор Песков холодно кивнул, выслушав речь, и положил перед молодым хозяином расчетную книжку:

— Посмотрите, пожалуйста.

— Расчетная книжка.

— Вы когда-нибудь читали этот документ?

Савва пожал плечами:

— Разумеется.

— Боюсь наскучить, но я вынужден еще раз прочитать вам вступительную часть... Это имеет отношение к нашему разговору.

Инспектор Песков открыл книжицу и ровным голосом, без интонации и подчеркивания, стал читать:

— «Принимая настоящую книжку, я добровольно соглашаюсь на вычеты, в скобках — штрафы, из причитающегося мне жалованья за порчу производства, происшедшего из небрежности и ненадлежащего внимания моего при работе оного, в следующем размере: при обработке миткаля, а именно по усмотрению конторы за близны, недосеки, подплетины и разводку — не менее 5 и не более 50 копеек. За неровный бой и подделку набора — от 10 копеек до 1 рубля, за рассек берда — от 5 до 25 копеек, за разнообразную ширину миткаля — от 10 до 50 копеек, за подкладку ремня — от 25 копеек до 1 рубля, за вырывание из краев нитки и за порыв полотна — от 10 до 50, за нечистоту полотна и кромок — от 10 до 50. При этом за порчу и потерю инструментов полагаются следующие вычеты: за челноки — от 25 до 50, за щипцы — 20, за крючок — 5, за отческу — 25, за масленку — 50, за чистельную щетку — 25, за газовую горелку — 10. Кроме того, полагаются штрафы: за обметание машины на ходу — от 15 до 50, за шалости во время работы — от 10 до 25, за сидение на ящике и машинке — от 10 до 25, за разнообразное количество путанки, происшедшей от небрежности, — от 10 копеек до 1 рубля, за обжиг основы от газового рожка — от 1 до 3 рублей, за обжиг основы от несоблюдения смазки станка — от 1 до 3 рублей...»

Савва терпел это чтение до конца.

— Ну, кажется, довольно. Далее идет перечень штрафов за прогулы, — сказал инспектор Песков.

— Не знаю, для чего вы затеяли это. Вы хотите устыдить меня? Мне стыдно, но... Если хотите знать мое личное мнение

на предмет: я за то, чтоб рабочие получали больше! — Савва схватил книжку и потряс ею над головой. — Я за то, чтоб рабочие всегда были сыты, чтоб всегда были в силе и здоровье. Да, если хотите, эта книжка — безобразие. Но безобразие вынужденное. Мы не только передовой Англии, мы отсталой Персии не составим конкуренции, если наши люди не научатся работать. Когда настанет мое время, я дам рабочим все: больницы, школы, театры, и потребую одного только — прекрасной работы.

— Но разве может эта книжка способствовать повышению производительности? Она воспитывает, по-моему, один только страх.

— Да, страх, — согласился Савва, — я об этом думал. — Он опять глянул на инспектора остановившимися рысьими глазами. — Родиться бы на сто лет позже! Я, господин инспектор, и теперь уже боюсь, что моя жизнь заранее не удалась. Если бы я родился на сто лет позже, не знаю, кем бы я был, но был бы счастливей... Впрочем, я никогда не отрекусь от самого себя и со спокойной совестью потащу тот воз, в какой меня запряжет мое время. «Я, мое, мне» — не улыбайтесь. Без этих слов не было бы прогресса, как не было бы его без моего деда и отца, которые ради прибыли...

Савва остановился, как над пропастью.

— О штрафах, производящихся на вашей мануфактуре, я доложу губернатору, — сказал инспектор Песков. — Об использовании незаконного детского труда — тоже.

Савва пожал плечами:

— Я доложу об этом разговоре моему отцу.

Они пожали друг другу руки без удовольствия, но не без симпатии: оба были сильными людьми!

IV

Мария Федоровна приняла Савву в кресле. Глаза у нее были красные, но она ему улыбнулась и сделала знак поклониться, пришлось встать перед матерью на колени. Она положила ему на плечи маленькие, но жесткие руки, поцеловала в стриженую макушку и слегка оттолкнула:

— Ступай! — В горле у нее что-то булькнуло.

Савва встал и ушел не оглядываясь. Оглянуться — все равно что на нечистую силу: мать не простит увидавшему слезы ее.

Ему ничего еще не сказали, кроме этого «ступай», — с поезда он сразу прошел к матери, — но кресло, красные глаза, поцелуй в макушку — все предвещало долгую разлуку с домом.

В кабинете Тимофея Саввича было темно, прохладно, тихо. Тимофей Саввич, торжественный и прекрасный, улыбнулся сыну глазами и глазами указал на кресло у стены.

Савву словно громом стукнуло. В кресле у стола сидел господин Лачин! Попятился, куда указали, сел и только теперь дел, что в кабинете не только Лачин, здесь директор Никольской мануфактуры Дианов, управляющий Назаров, муж младшей сестры и какая-то баба.

— А эта женщина, вы говорите, провидица? — спросил Тимофей Саввич Лачина.

— Так точно! Очень сильное впечатление производит. Для всех заблудших — наивернейшее лекарство.

Баба, с удовольствием восседавшая в мягком кресле, поняла, что пришел ее черед, отерла платочком вспотевшее жирное лицо.

— Свету мало!

Дианов поднялся и раздвинул шторы.

— Вот так-то лучше! — обрадовалась провидица. — Теперь я, пожалуй, и пророчество вам скажу.

— Шарлатанка, — пробормотал Савва Тимофеевич, очень тихо, никто его не слышал.

Но провидица поглядела на него хитрыми бесстыжими глазами и как бы что-то запомнила. Потом она засуетилась и, мелко перебирая кисти на своих шалях, заговорила невнятно, горопко, проглатывая окончания слов:

— Взирай с прилежанием, тленный человек, как век твой проходит, и смерть недалече. Текут время и лета во мгновение ока, солнце скоро шествует к западу с востока, готовься на всяк час, рыдай со слезами, да не похитит смерть с твоими делами. Аминь!

Сказала все это и с облегчением перевела дух.

— Послушай, милейшая, — не скрывая насмешки, обратился к бабе сидевший в дальнем углу Назаров, — у меня в имении увели лошадь.

— Кобылу сивую?

— Вот именно, кобылу и сивую.

— Коли бы ты вчера хватился, была бы она в Татьянинном бору, к сухой березе привязана. А теперича посылай в со-

седний уезд, коли сегодня пошлешь, завтра твоя будет, а нет — и не ищи тогда.

Все обратились к Назарову, проверяя эффект ясновиденья.
— Татьянин бор действительно рядом.

Директор мануфактуры Дианов, осторожничая и тревожась, спросил прорицательницу очень уж всерьез:

— Сны меня что-то в последние дни одолели. Скажи, пожалуйста, не случится ли что на этих днях со мной худого?

— Да уж случилось.

— А что же?

— Дача у тебя сгорела.

— Да когда же?

— А вот теперича и догорает как раз.

Дианов до того вытаращил глаза, что все невольно, хоть и грешно было, засмеялись.

— А скоро ли конец света? — спросил Тимофей Саввич.

Баба зорко посмотрела на него: не шутит ли. Старшой Морозов глядел серьезно.

— Про то знать одному богу дано, — ответила провидица. — А сердцем чую: скоро.

— Откуда сама-то?

— Мы — петушинские... А вот оне, — кивнула на Лачина, — в Зуево уговорили переехать. На квартире живу.

— Домишко тебе выстроим, а ты, матушка, уж постарайся. Побереги рабочих моих от соблазнов, непослушания и всякого злодейства. Главное, чтоб не бунтовались.

— Мне бы садик.

— Лачин, ты и впрямь пригляди матушке хороший дом на каменном фундаменте. И чтоб сад был.

— А выезда матушке не надобно? — спросил Савва.

— Выезд у меня есть, сынок, — кротко откликнулась прорицательница, — меня грешницы возят.

— Господин Лачин, — сказал Тимофей Саввич, — я доволен вами... Деньги за труды получите у Михаила Ивановича Дианова. И впредь у него будете получать. На дому.

— Премного благодарен.

— А мне-то будут платить? — вдруг спросила провидица.

— Подойди, матушка, к столу и напиши желаемую тобой сумму.

Матушка начертала что-то на бумажке.

— Ну что ж, матушка, сойдемся. Старайся, и мы тебя не

забудем.— Старшой Морозов тоже что-то быстро начертил на листе бумаги.

— Знаешь, что это?

— Нет, батюшка!

— А это, матушка, знак Астарота — владыки Востока, со-общающего посвященным прошедшее и будущее. Пантакли, защитительные заклинания от злых духов, тебе, матушка, ве-домы? «Я есмь Альфа и Омега, первый и новейший, живущий и умерший и вновь живущий из века в век, имея ключи смер-ти и ада».

— Нет, батюшка,— попятилась пророчица.

— Тебе в Никольском наговорят, что Морозов колдун. Так ты не верь. Врут... Ну, с богом!

Тимофей Саввич кивнул Лачину. Тот откланялся, взял под руку ошеломленную чародейством фабриканта провидицу, и они пошли из кабинета.

В дверях баба, однако, замешкалась, глянула через плечо на Савву и сказала ему загадочку:

— А ты, петушок, сердце рисуй. Научись сердечко рисо-вать. Пригодится.

Дверь за Лачиным и бабой затворилась, и Тимофей Сав-вич захохотал.

— «Я есмь Альфа и Омега»! — смеялся и длинными паль-цами трогал глаза, словно промокал выступившие слезы.— Теперь о моем колдовстве будут знать в Никольском и мал и стар...

Савва поднялся:

— Отец, где мои документы? У меня ведь мало времени!

— Подожди, Савва, одну минуту. Последний вопрос, гос-пода. Что вы думаете о Лачине?

Назаров передернул плечами.

— Человек ничтожный... с очень широкими связями в пре-ступном мире.

— Стало быть, Чуркины нам уже не страшны? Господа, я прошу вас присматривать за бывшим поручиком. Его пору-чиком выгнали из полка?

— Поручиком,— сказал Дианов.— Но боюсь, как бы эта провидица...

— Михаил Иванович,— старшой Морозов стал серьезен,— вы же сами докладывали: недовольство среди рабочих, хотя и разрозненное, неопределенное, но сильное. А ведь кризис не убывает! Нам, боюсь, придется урезать заработную плату.

Если не прямо урезать, то с помощью штрафов... Нет, господа, в такое время и пророчицы хороши, и Лачиным платить будет за что. Я приглашаю на обед.

Все поднялись, пошли к дверям.

— Савва, а мы задержимся.

Тимофей Саввич снова опустился в кресло, а Савва стоял вполоборота, у двери.

— Как прошла инспекция?

— У тебя были Дианов и Назаров..

— А я твое мнение спрашиваю.

— Государственная инспекция в лице инспектора Пескова высоко оценила бытовые услуги, имеющиеся в распоряжении рабочих мануфактуры. Похвалы заслужила школа, где готовят рабочих для фабрики... Если хочешь знать мое мнение, то школа — это единственно приемлемое учреждение на мануфактуре «Товарищества».

— Замечания были?

— Инспекция отметила незаконное использование детского труда и чрезмерное увлечение администрации штрафами. Инспектор Песков сказал, что обо всем доложит губернатору, а я ему сказал, что доложу о его замечаниях тебе.

Тимофей Саввич нахмурился: он посылал сына на инспекцию с надеждой, что вольнолюбие молодого хозяина придется по вкусу строптивому инспектору Пескову. А сынок в амбицию пустился.

Тимофей Саввич силен. Он любит говаривать: «Уездный Покров — моя подметка». Такому ли человеку перед инспекцией шапку ломать? Но инспектора публикуют свои отчеты. Не дай бог, в газетах шум поднимется. Лишняя болтовня — лишняя трата денег. Господин инспектор ради своей тощей честности обозначит некий пустячок, а подмазывать придется самого губернатора. Губернатор — не исправник: не сунешь в руку. Придется к губернаторовой жене на именины подарочек нести. Тонкое и дорогое дело.

— Говорят, хозяин игорного дома в Зуеве, — сказал вдруг Тимофей Саввич, — жену проиграл?

— Да. Этот мерзавец Лачин поставил и проиграл жену.

— Так это был Лачин? — почему-то и не очень даже наигранно удивился Тимофей Саввич. — Да, я, конечно, знал это. Я знаю, тебя воротит, но одно дело чувствовать, а другое — хозяйствовать. Ты меня из гордости, из своего бизоньего упрямства никогда не спросишь, почему я принял Лачина на

службу, почему в моем кабинете очутилась эта прожженная баба. Так я тебе скажу сам. Настоящий хозяин должен знать о своих рабочих всю подноготную, он должен предупредить саму возможность появления среди рабочих нигилизма, который так страшен правительству. И действительно, страшен... Бунт — это гласность. Это убытки и убытки. Что же касается господина Лачина, мне, купцу, лестно, когда у меня на службе потомственный дворянин. Мерзавец, но и работа ему дается омерзительная: подслушивать, подглядывать, избивать, а то и убивать.

— Отец, я пришел за документами. И не хочу знать твоей кухни. Избавь меня от этого знания.

— Не избавлю, сынок! Не имею права избавить. Ты наследник не только моих капиталов, моего дела, но и моей кухни. Без этой кухни не будет повиновения работающих на нее.

— Отец, твои рабочие — рабы. А труд раба жалок.

— Но кто же виноват? Я? Нет, сын, виновата паровая машина. Чтобы побежали приводные ремни на всех этажах фабрики, чтобы разогнать должным образом всю эту махину, нужны не одни сутки. Значит, остановить паровую машину без ущерба для кармана не только капиталиста, но и рабочего — нельзя. А потому рабочий вынужден маяться в ночной смене. Потом, не выспавшись, подменять денного во время перерыва на завтрак и на обед... Я даже доволен твоим недовольством, сын. Это верный признак, что ты не проглядишь в Англии их заграничных новшеств. Учись у них всему. Они родоначальники промышленности.

— Ты в них — как в бога.

— Я хотел бы, чтобы и эта моя вера стала твоей, — торжественно провозгласил Тимофей Саввич.



БУДНИ

I



отекла, закрутилась не дающая роздыху фабричная жизнь.

По ночам трещали колотушками сторожа.

Часа в четыре, в самый сон, гроыхали сапогами хожалые по коридорам, останавливаясь перед дверями каморок и выкрикивая одну фразу: «Вставайте на работу!» Это поднимали тех, кто шел «на заработку», так называлась утренняя смена, начинавшаяся в пять часов.

С работниками поднимались и женщины: в казарме стирать было нельзя. Набирали белья в корзины и шли на постирушку в баню.

Катя похудела, но была весела, подружками обзавелась, ходила к ним в лото играть. Только однажды кинулась в слезы.

Сосед по этажу, похожий на клеща ткач Гаврила Чирьев, явился домой пьяней вина, пинками избил семилетнюю дочку. изрубил топором казенный стол, изорвал и изрезал все платья жены и детишек. А было у него их пятеро.

Прибежали хожалые, надавали Гавриле тумачков, семью выбросили из казармы вон.

Жена Гаврилы Прасковья бросилась к директору Назарову, валялась в ногах и была оставлена на работе. Самого Чирьева предупредили в последний раз, но жить семье в казарме отныне было воспрещено, а это беда.

В казарме о топке думать не надо: тепло, куб с горячей водой, уборная, хоть общая, но тоже теплая. В кухне — плиты, духовки, чего хочешь вари, чего хочешь пеки. На частной же квартире, может, простору и больше, а хлопот втрое, да ведь и дорого.

Как Чирьевых-то из казармы выкинули, Моисеенко вышел в коридор с мужиками покурить. Опустившись на корточки, спиной прислонясь к стене и сидя на пятках, мужики говорили о беде Чирьева, о жизни вообще.

— Чего там! — сказал Моисеенко. — Скоты так не поступают, как поступил Гаврила. Только вот вопрос: с чего это он взбеленился?

— Известно с чего! — откликнулся Ефрем. — У него баба хоть и пятерых родила, а все красавица и работает на красилке.

— Так что с того?

Ефрем удивленно развел руками: не понимает человек.

— Назаров там директором, Сергей Александрович, — пояснили Петру Анисимычу. — Этому жеребцу двадцать пять лет, и он ни одной красивой работницы не пропустил.

— Значит, начальству все в Орехове позволено и сходит с рук? — спросил Моисеенко.

Промолчали.

— Нет, мужики, так жить, как вы живете, нельзя.

— Сами знаем, что так нельзя! — крикнул худущий, переведенный из-за туберкулеза на легкую работу кочегар. — И так нельзя, и деваться некуда.

Разошлись удрученные.

На работе на следующий день Ефрем прибежал к Моисеенко перекинуться словечком.

— Анисимыч, наш-то Гаврила — цветочки! Вот в восьмой казарме мужик вчера отчубучил! Слыхал?

— Не слыхал.

— Жена ему денег на водку не дала. А он и догадайся! В столе дырку прорубил, просунул голову и топор положил

рядом. Жена, не знавши, входит в каморку. А на столе — мужняя голова. Так и вдарилась без памяти. — Парень засмеялся и побежал рассказывать происшествие другому товарищу по смене.

В курилке Моисеенко снова заговорил о Гавриле Чирьеве, о том, что рабочие Морозова слишком уж терпеливые: хозяин на шее сидит и, видно, скоро и на голову сядет.

Слушать такое ткачи слушали, но сами в ответ — ни полсловечка.

Судьбину горькую ругать — это одно, к этому привыкли, а чтоб хозяина? Хозяин работу дает — кормилец.

Опять позвали Моисеенко в контору к браковщикам. Браковщик, лысый, румяный, круглый — кондитер, и только, — вскинул небесные глазки на ткача:

— Моисеенко? Книжечку пожалуйста.

— Покажите порчу на моем товаре.

— Пожалуйста!

Ткачихи, стоящие за спиной, держа в тощих руках горькие свои книжицы, замерли.

Браковщик развернул товар.

— Вот-с, извольте, не чист.

— Точно, не чист, — согласился спокойно Моисеенко и медленно спрятал книжку в карман. — Перепутали вы что-то. Этот товар не на моей машине сработан.

Розовые щеки полыхнули.

— Молчать! Молчать!

Моисеенко опять медленно достал книжку, рука толстячка рванулась, но ухватила воздух.

— Покажите мой товар и запишите мне за хорошую работу премию.

— Что?! — У браковщика в горле пискнуло от бескрайнего возмущения. — Вон! Вон! Берегись у меня.

— До свидания.

Моисеенко шел мимо обычной серой очереди ткачей и ткачих, и опять смотрели на него, не понимая и со страхом, но были и другие взгляды. Были злые — ишь какой особый выискался! Были кротко-радостные — нам за себя так не постоять, но, слава богу, есть все-таки люди поперечные злу. Увидел он и новое. Увидел женщину, с плотно сжатыми губами, всю в себе, не человек, а пороховая бочка.

«Эта браковщика-то и прибить сегодня может», — подумал.

Едва начал работу, подошла к нему Прасковья Чирьева. Она и вправду была очень хороша собой. Смуглая, как горянка. Брови к переносице, глаза карие, жаркие. На смуглых щеках румянец. Ямочка на подбородке.

— Анисимыч, будь человек, поди к моей машине. Погляди. Рвет нитки: то близна, то недосека. А мне теперь каждая копейка дорога.

Смотрит затравленно. Хорошие ткачи к чужой беде глуховаты... Да ведь и то — работа сдельная. Каждый о себе думает.

— Я тебе, Анисимыч, магарыч...

Засмеялся:

— Магарыч? Детям портчонки лучше купи.

Наладил ей оба станка.

А из-за соседнего уже другая ткачиха на него поглядывает. Пожилая, старуха почти, а может, и не старуха. Фабрика соки быстро сосет. Сам к ней подошел, помог.

Почет и уважение от ткачих на этаже заслужил, хоть свой заработок в тот месяц получил не больно велик.

Пришла зима.

Товары в лавке вздоржались: что заработаешь — проешь. Как-то Катя в сердцах сказала:

— В Анцыре, на краю света, и то лучше жилось.

— Люди здесь, Катя, как самая непроглядная северная ночь, — ответил Анисимыч. — Мы вдвоем работаем на три рта, а концы с концами только-только сводим. А у многосемейных что делается? Разуты, раздеты, голодны. Зашел я наемни к Гавриле Чирьеву на квартиру, а его ребята похлебку из картофельной кожуры варят. В деревне свиньи лучше едят.

— Сколько дал-то?

— Да сколько было, столько и дал... Жалеешь денег, что ли?

Она обняла его:

— Не денег. Тебя. Почернел ты, на маету фабричную глядя.

— Катя, что делать — ума не приложу. Здесь не рабочие, а рабы. Сами себя за людей не почитают. Ни гордости в них, ни сердца — один страх. У Морозова, вишь, хоть жесткий кусок, хоть черный, а все еда... Уходить надо отсюда! Смирновы

в Ликине больше платят. До пасхи доработаем — и расчет. О себе пора подумать.

Ничего ему не сказала Екатерина Сазоновна. Только словам его нисколько будто бы и не обрадовалась. Сдавать, что ли, забияка ее, народный ходатай, начал? О себе вспомнул.

II

Однажды после работы прибежал Петр Анисимыч в библиотеку. Там целая толпа.

— Чего ждете?

— Да вот, читальщик наш пропал. А больно охота узнать, как у Чуркина дальше дела-то пошли.

Один из толпы спросил:

— Не ты ли, летом еще, говорил, что не хуже конторщика читать можешь?

— Давай прочту, поглядишь.

Все согласились, и Петр Анисимыч взял у библиотекаря «Московский листок».

Продекламировал несколько абзацев обычной пастуховщины о приключениях удалого разбойника. Слушали. И тогда Моисеенко «прочитал» свое:

— Чуркин был таким же фабричным, как все мы. Жил он на фабрике у Морозова, и было ему так же «хорошо», как всем нам.

Слушатели переглянулись, но стало им куда как интересно: Чуркин-то свой!

— Не вытерпел Чуркин измывательства мастеров, — «читал» Моисеенко, — не вынес бессовестных морозовских штрафов, и вот, поди ж ты, захотел быть разбойником-грабителем.

— Он бедных не грабил! — не сдержавшись, крикнул ярый слушатель Матвей Петров.

Ефрем тотчас поддержал друга:

— А то, что богатых грабил, — не беда, у них много.

— Тише вы! — цыкнули на них мужики постарше. — Вишь тут какое дело! Не мешайте человеку правду читать!

— Ну так, это самое, — продолжал, глядя в газету, Моисеенко, — Чуркин хоть и простого роду атаман, а для черного народа все ж воли добывать не захотел. Об одном себе думал да о своей шайке. Так-то вот! Мы тоже, это самое, шею своим гнем и ничего для самих себя делать не хотим. Все думаем:

авось да небось. А никто о нас, грешных, не позаботится. Хозяину, что ли, мы нужны со своим горем?

— А ведь верно! — сказал, сокрушаясь, старый ткач. — Кому мы нужны? Рука в ремень попадет, и вместе с собаками по улице гоняй.

— Это самое, — «читал» упрямо Моисеенко, — Чуркин-то, разбойник, организовал свою шайку и живет свободно, а мы не можем организовать хотя бы маленький кружок для защиты себя. А ведь надо бы! Давно надо.

И тут Петр Анисимыч закрыл газету. Слушатели сидели ошарашенные. Библиотекарь из-за своего стола пристально поглядел на чтеца, но ничего не сказал.

Стали подниматься. Расходились неторопливо. Думали, перекидывались словами.

Стучало сердце у Моисеенко. Весело стучало. И вдруг он услышал разговор:

— Хорошо бы и нам что-либо сделать.

— А как? Приняться-то как?

В разговор решительно влез Ефрем:

— Надо бунт устроить! Без этого ничего не получится.

— Сопляк! — сказал с горечью старый ткач. — Да знаешь ли ты, что фабрика у Морозовых от всяких бунтов заколдована?

— Это верно, — согласились. — Морозов — колдун.

— У них весь род колдовской. Что Викула, что Тимофей, а сын у Тимофея и подавно. Такое умеет варево сварить: капелька попадет на тебя — и готово: дурак дураком. Чего он захочет, то и сделаешь.

Вся радость улетела. Пришел Моисеенко домой, словно его в прорубь окунули. Лег и молчал. К еде не притронулся.

— Ну, что стряслось? — спросила Катерина, когда он маленько обмяк.

— К Смирнову на пасху уйдем, — только и сказал.

Прихватил-таки браковщик Моисеенко. Кромка не больно хороша получилась. Брак малый, а содрал браковщик так, словно весь месяц ткач товар портил. Дал Петр Анисимыч книжку, покосился на обычную очередь горестных женщин, а ткачихи глаза отводят: единственный их защитник сдался. Поглядел Петр Анисимыч, сколько ему записали, и засмеялся вдруг:

— Во как! За копеечный убыток шкуру содрали! Ну, да ладно. Жалую свои кровные нашему хозяину-благодетелю. Пускай на них в пасху шампанского выпьет за мое здоровье.

Браковщик зверем выпучился — никогда такой дерзости не слышивал, а ткачихи будто и повеселели. Смешок, как снежок. Реденький, холодный, а все не так уныло.

После работы пошел Петр Анисимыч в Зуево, к Гавриле Чирьеву. У того опять прибавление в семействе, еще один сынок родился. Ну, хоть и бедность, голь перекатная, а все же праздник — новый человек.

Крестили в Орехове парнишечку. Анисимыч — крестный. А парнишечка словно бы и чувствует, что бедняк он безголосый. Его поп шарихнул в воду, словно кутенка, — молчит. Ни разу не пискнул.

Стал поп запись в книге церковной делать, да как вдруг закричит на Моисеенко:

— Кто отец этого ребенка?

Гаврила Чирьев полшажка вперед:

— Я.

— Мерзавец ты! — говорит поп.

Петр Анисимыч, конечно, смолчать не смог.

— В чем дело, отец духовный?

— Они еще спрашивают, нехристи окаянствующие. Ребенок зачат в великую семидесятницу. Ему теперь прощения на том свете не будет.

Поп рычит, а у Петра Анисимыча тоже голос слава богу!

— Тихо, батюшка! Сам-то небось не веришь в тот свет. Никем еще не доказано, что тот свет существует, ни одним философом.

У попа все слова и разбежались.

— Чего, чего, чего? — А потом как затрясется, как замашет руками. — Да я, да я! Я в контору донесу!

Моисеенко схватил ребенка и бегом на улицу, а там — хохотать.

Гаврила тоже смеется. Просмеялись этак, а потом и задумались. А что, если и вправду не поленится поп в контору сбегать?

Клязьму переходили по льду. Снег был синий, вечерний. Звездочка уже горела в небе. Петр Анисимыч развернул маленько куклешку:

— Спит.

— У нас все ребята спокойные,— сказал Гаврила.

Моисеенко и рассвирепел:

— Ишь чем хвастают! Спокойные они! Морозов на этом спокойствии золотишко кует. Их по морде — молчат. Их в прорубь — молчат. Молчат, как животные безответные, бессловесные.

— Скажешь тоже! — обиделся Чирьев.

И тут они увидели толпу.

Возле трактира «На песках» стояли крестьянские розвальни, но крыты они были богато волчьими шкурами с волчьими оскаленными мордами. Вместо лошади — все в черном, с белыми неживыми лицами — женщины. В санях — тоже женщина. Шуба на ней обычная, рыжая, на голове черная грубая шаль, из-под шали — белый батистовый платок.

— Вижу! Вижу! — тонко вскрикивала сидящая в санях, хватая руками себя за голову и раскачиваясь. — Быть голоду, быть мору! Припадите же к стопам всевышнего. Он спасет, защитит, даст вам и жизнь и хлеб.

Из трактира вышел хмельной, послушал бабу, рукой махнул.

— Все врешь!

— А ну-ка, погляди на меня! — сказала быстро провидица.

— Ну и погляжу! — хорохорился пьяный.

— Так, так, так,— тотчас уличила смельчака провидица. — Бабу свою уморил чахоткой, деда запынал, все три твои дочки — по улицам «женихов» ищут, но и самому тебе, старому мерину, жизни осталось три полных луны. Ступай!

Мужик икнул, попятился, пустился рысью наутек, а люди как-то съежились, как-то придвинулись друг к дружке.

Вдруг, вырвавшись из толпы, подлетела к провидице растрепанная молодуха:

— Скажи! Все скажи! Всю правду!

— Обворовал он тебя и еще семь раз обворует. А потом будет твой,— не глядя на молодуху, скороговоркой сказала провидица.

— И мне скажи! И мне! — загалдели мужики и женщины.

— Вороные мои! — вдруг по-разбойничьи, в четыре пальца, засвистела провидица.

Женщины, запряженные в сани, тотчас тронули. Толпа качнулась, раздалась, пошла вслед за поездом.

— Вижу! — кричала провидица. — Вижу! Идите все в цер-

ковъ. Молитесь сорок дней без устали. Не то — беда грядет. Вижу черное! Черное! Молитесь!

Люди падали в снег, крестились, плакали.

— Кто это? — спросил Моисеенко у Чирьева.

— Не знаю.

Гаврила стоял, скинув шапку.

— Надень. Лысину застудишь. Или, может, тоже побежишь поклоны класть?

— Так она вон как! Всю правду рассказывает.

Поглядел на него Петр Анисимыч сбоку. Ничего не сказал. Обиделся на Чирьева. Так обиделся, что и на крестинах лишнего часа не посидел.

Домой бежал мимо молельного дома старообрядцев. Те как раз с молитвы шли. Каждый сам по себе. Не то что смешинки, слова не проронят.

Петра Анисимыча даже ознобом прошибло. Те же рабочие люди, да не те, выходит. Викула и платит хуже, и казармы у него хуже, школа — хуже. А все они за хозяина стоят, как цепные псы. Плохо о Викуле скажешь — прибьют.

Пришел Петр Анисимыч домой, а дома — новое дело. Сазоновна ревмя ревет.

— Ты чего?

— Обобрали.

— Как так?

— Вон погляди! — на расчетную книжку показала.

Поглядел. Таких штрафов написали, что за харчевую лавку и вполтину не расплатиться.

Воспитанница в уголке, напуганная.

— Вытирайте слезы! — приказал Анисимыч. — Али на Морозовых свет клином сошелся? Али мы работать не умеем? До пасхи — рукой подать. Отработаем, и — вольные птицы.

III

Широкая масленица будто обухом по башке, будто снежным заледенелым комом трахнулась и на Зуево, и на Орехово, да ведь не рассыпалась веселой снежной пылью, а так — пришибла, придавила.

Петр Анисимыч праздник справлял у отца в Дубровке, вернулись домой под утро. Разоспался Анисимыч. И стала вдруг ему снится буря: свистит ветер, крыши оторвались, гремят, дома рассыпаются. Такая карусель мерзкая. Проснулся,

головой потряс, а все равно свистит, ревет. Что за чудо? В окошко глянул, а вдоль чугунок несуетная ревушая толпа: зувские с ореховскими силой меряются.

Наскоро оделся, на крыльцо вышел. А на крыльце тесно от зрителей. Женщины, старики, дети на побоище глядят. Тут как раз Матвей да Ефим, соседи его из молодых, приволокли под рученьки Гаврилу Чирьева. Он хоть теперь и зувский, а пришел биться за своих, ореховских. В отместку, видать, и шарахнул кто-то его кирпичом по голове. Кровь,— женщины причитать. Тут на крыльце-то Прасковья его стояла, тоже не поленилась, с дитем битву пришла смотреть.

— Тащите Гаврилу ко мне! — сказал ребятам Петр Анисимыч.

А Прасковья на него волчицей:

— Наших бьют, а вы по каморкам отсиживаетесь! Мужики тоже. Да я за Гаврилу передую проклятых!

Дите кому-то сунула, платок сорвала — и в бой. Женщины ее перехватили, и все на Моисеенко глядят. Как будто это он Гаврилу по башке угостил. Да и Матвей с Ефимом на него воззрились: это как же, такой крепкий мужик от битвы в стороне и за своего, казарменного, не бежит тотчас головы врагам отворачивать.

А на чугунке страсть что делается. Поезд идет, а драчунам и дела нет. Машинист — на тормоза, паровоз оборался, пар, шип. Трели кондукторских дудок, жандармы в свистки свистят, а драчуны месят друг друга. Не подойти к ним и объехать невозможно. Зувцы ореховцев через дорогу теснят.

Петр Анисимыч сделал Гавриле перевязку. Опять на крыльцо вышел, а там уже бабы-патриотки порты напялили и товаров ждут, чтоб на помощь мужикам своим идти. Делать нечего, надо драться, не то «позорить» будут на весь город. Кинулся Анисимыч во главе бабьего отряда к железной дороге. Ореховцы увидали, что помощь идет, поднатужились, а зувцы в замешательство пришли, подались за линию. Тут поезд тронулся и разделил армии. Жандармы с шашками наголо вдоль линии побежали. За первым поездом сразу второй, товарняк. Бойцы и поостыли. Кто кровь из носу унимает, кого отхаживают, кого водой отливают. Ну, а кому слава и почет.

— Как я ему ахну! А на меня — с другой стороны, а я как ахну! А тут спереду. А я головой. Он — брык! Тут мне как ахнут. А я стою. Мне как ахнут, а я стою. Не моргаю.

Петр Анисимыч с Матвеем и Ефимом пошли в каморку

поглядеть Чирьева, тот уже очухался. Сидит с Катей и Прасковьей — чай пьет.

Петр Анисимыч попросил себе чашку, а сам хохочет:

— Бабы-то! Во-ояки!

Потом на молодых мужиков поглядел умными глазами и головой покачал грустно-прегрустно:

— Если бы вот так-то не самих себя, а душителее своих лупили. Да, видно, вам смелости не хватает! Себя-то вон как! И кирпича не пожалели.

— Брось ты, Анисимыч,— сказал Матвей,— масленица. Обычное дело. Без стенки — и вспомнить было бы нечего.

— Вспомнить им нечего! — вскричала Прасковья. — А если бы убили моего? Балда! — ткнула пальцем Гавриле в бок.

— Чего шумишь? Обошлось. Сама ж в драку кидалась.

— Так ведь за тебя!

— А вы все ж таки покумекайте,— опять взялся за свое Моисеенко. — Когда все-то мы собрались — поезда встали, жандармы, как зайцы, в стороночке притулились. Эх, мужики! Знали бы вы, какая мы сила, если за одно дело да всем городом, как сегодня, когда друг дружку тузили.

Сазоновна еще кипятку принесла. Чай пили с баранками.

Не успели осушить по первому блюдцу, как появился новый гость.

— Анисим! — обрадовался Петр Анисимыч. — Давай к столу скорее. Без тебя скучно. Танюхи совсем вон не слышать.

Анисим, тот самый мальчишка, что из «купцов» в рабочие перебежал, входил в комнату как-то очень уж замысловато, затылком вперед.

— Ба! — углядел Петр Анисимыч. — Фингал! Неужто тоже драться ходил?

Анисим молча покрутил головой.

— Садись за стол! — позвала Сазоновна.

— Не стесняйся, паря,— загудел, трогая голову, Гаврила Чирьев. — Меня вон, здорового дурака, тоже угостили!

— Дядя Петя! — быстро и ни на кого не глядя выпалил мальчик. — Выдь на секунд в коридор, словечко надоть сказать.

— Ну, коли секрет! — Петр Анисимыч поставил недопитое блюдо.

Анисим тотчас шмыгнул за дверь.

— Дядя Петя,— прошептал мальчик, как только они очу-

тились наедине,— это мне приютские подставили. Поди побей их, а то житья прямо нету. Ты всем ихним поддай...

— Погоди, погоди! — остановил его Петр Анисимыч. — Давай по порядку.

— Дядя Петя! — взмолился Анисим. — Ты их только разочек, говорю! Чтоб они знали моего заступника. Чтоб они боялись.

— Поколотить, Анисим, дело не хитрое. Только потом-то как? Тебе с ребятами под одной крышей жить, за одним столом есть, в одной фабрике работать.

— Вот я и хочу, чтоб они боялись меня, а то — житья от них нету.

— Подрались, скажи, из-за чего?

— Из-за моего капитала... Я, дядя Петя, в пристенок у взрослых мужиков полтину наиграл. Я ловкий. У меня хоть рука маленькая, на растяжке с мужиками не больно потягаешься, но зато я глазом верный. Как стукну, так моя монетка и ляжет возле ихней, а то и монеткой на монетку попадаю. Тут уж второе гони!

— Угу... Значит, в деньги играешь?

— Так ведь не воровать же.

— Это верно... А что, ребята отняли у тебя деньги-то?

— Отняли бы, коли не спрятал. Да где им! У меня тайник надежный. Они, дядя Петя, вишь чего говорят: мы, мол, всякую копейку на паях проедаем, а ты с нами наше ел, вот и гони полтину в общий котел. А я, хоть и ел, так ведь сами давали. Им, может, деньги ни к чему, а мне они для дела нужны. Проест-то и миллион можно. Верно, дядя Петя?

— Вот что, Анисим, пошли чайку попьем, а потом и поговорим.

— Дядя Петя, да ты бы уж их отколотил сначала. Идти-то до нас совсем недалече. Перед ужином как раз все соберутся. Ты уж сделай божью милость, отколоти разбойников. А чай я к тебе с утра приду пить. А если уж хочешь, бараночек мне вынеси.

— Ну что ж, пошли в приют,— согласился Петр Анисимыч.

Зашел, однако, в каморку, набил баранками оба кармана.

— Дорогие гости, дела у нас с Анисимом. Отлучусь.

— Ишь ты, тайны развели! — всплеснула руками Сазонова.

— Да еще какие!

— Ведет! — пискнула крошечная девчушка и кинулась на крыльцо, потащила, надрываясь, за собой совсем уж маленькую девочку. Упала. Закричала. На помощь ей из приюта выскочил босиком мальчишка, толкнул маленькую в дверь, стал поднимать старшую. И тут к нему метнулся Анисим.

Шлеп по уху — с правой. Замахнулся левой, но рука его, схваченная Петром Анисимычем, застыла в воздухе.

Сбитый с ног мальчишка, не понимая, что произошло, съехившись, глядел на бородатого человека: ударит ногой или не ударит? Человек улыбнулся, протянул ему руку.

— Не бойся, браток! Я не дерусь.

Отпустил Анисима, поднял девочку, страхнул со спины у нее снег.

Открыл дверь, пропустил девочку, втянул Анисима. Они очутились в тесном коридоре. Слышался топот убегающих ног. Петр Анисимыч повернулся к босоному мальчишке. Тот в коридор зашел, но держался за ручку двери.

— Как тебя зовут?

— Ваней.

— Ваня, поди к своим ребятам. Скажи им: дядька не дерется. Дядька, мол, пришел прощения за Анисима просить. Пусть они придут, поговорить надо.

Мальчик, оглядываясь, ушел. Петр Анисимыч достал баранки, угостил девочку, Анисиму тоже дал. В конце коридора появился высокий чернявый подросток.

— Чего тебе? — спросил издали.

— Поговорить с вами хочу.

— Говори, только мы твоего фискала все равно бить будем.

— Неужто наушничают? Анисим, правду говорит парень? Анисим молчал.

— Так. — Петр Анисимыч снял шапку, сел на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на чердак, достал еще баранок, сунул в руки девочке. — Отнеси ребятам.

С баранками в руках в конце коридора стали появляться мальчики и девочки. Глядели на Анисима, на его заступника, перешептывались.

— Что же это, браток, получается? — поглядел Моисеенко на Анисима. — Совсем что-то плохо получается.

— Он хлеб у маленьких отнимает, — сказала с другого конца знакомая девочка.

— Ей-богу, вот те истинный крест, все брешут! — протараторил, крестясь, Анисим.

Мальчики и девочки сердито заверещали из своего угла.

— Видать, поделом тебе влетело? — сокрушенно развел руками Моисеенко. — Ну, брат, не ожидал. Никак не ожидал. Я тебя в рабочие люди хочу вывести, а ты вон как!

Ребята, осмелев, приближались к Анисимову заступнику. Моисеенко достал последние баранки:

— Угощайтесь.

Первыми подошли девочки, потом мальчики. Петр Анисимыч одну баранку оставил себе, пожевал, поглядел на Анисима.

— А ведь нельзя этак жить. Коли каждый человек будет сам по себе, впору по лесам разбредиться. Это ведь как у диких зверей. Отнял кусок у слабого и сожрал. У людей по-другому заведено. Вон Ваня-то как кинулся девчушек вырывать! Молодец! Себя ради них не пожалел. Вот это полюдски.

— Ваня за нас всегда заступается, — сказали девочки.

Петр Анисимыч встал.

— Как же быть-то, Анисим? Прощения тебе надо у ребят просить за все твои никудышные дела.

— А я и попрошу. — Анисим проворно скинул шапчонку: — Простите меня, добрые люди.

— Быстро у тебя выходит, браток. Минуту назад переколотить всех хотел, а теперь прощения просишь.

— Так ведь ты ж сам так велишь! — удивился Анисим.

— Я не велю, я хочу, чтоб ребята тебя от души простили. А такое заслужить надо. — Петр Анисимыч поискал глазами высокого чернявого паренька. — Обещай-ка мне, браток, не драться. Анисим понятливый.

— А полтину-то? Отдавать, что ли? — спросил Анисим.

— Это уж ты сам решай.

— Подумать надо, не простое это дело.

— Подумай.

— Мы его бить не будем, — сказал Ваня. — А тебя я знаю. Ты в нашей смене. Ты еще штрафы себе писать не даешь.

Расстались друзьями.

А на следующий день Ваня с чернявым прибежали к Моисеенко в казарму:

— Убег твой Анисим.

— Как убег?

— Убег. Мы его не били. Мы с ним по-хорошему, а он убег. «А ну вас, говорит, я лучше, говорит, к господину купцу Заборову вернусь. Тот хоть и побьет, да в люди выведет. А с вами водиться — в вечной нищете жить».

Всю ночь Петр Анисимыч глаз сомкнуть не мог. И под утро не заснул.

— Надо было мальчишку домой взять,— сокрушался.— Ведь этак-то он мерзавцем вырастет.

— Ты что за всех-то мучаешься? — сердилась Сазонова.— Одним больше, одним меньше. Мир не переделаешь.

— Отчего ж не переделаешь? Переделаешь. Надо только сообща...

— «Сообща, сообща»... От тебя только и слышишь — сообща, а в жизни все равно каждый в свою дуду дудит.

Примолк Анисимыч. Целую неделю ходил как в воду опущенный.



ПРАЗДНИК

Ш

I

у, вот и все! — Анисимыч трахнул руб-
лишками по столу и пошел-пошел, гро-
хоча сапогами, елецкого.

Я работал дотемна,
Поработал — будя!
Была б спина,
Коромысло будет.

Все! Пропади оно пропадом, змеиное гнездо. Все, Сазонов-
на. Я уж и в Ликино сбежал, до покрова к Смирновым на-
нялся.

Выпалил все это, сел, а глаза сияют, смеются.

— Еще-то чего? — спросила Сазоновна с тревогой.

Опять вскочил, подхватил Сазоновну, поднял, закружил.

— Петя! Петя! Грех ведь! Страстная суббота!

Петр Анисимыч опустил Сазоновну, попытался поймать
Танюшу, да она увернулась.

Достал из кармана железнодорожные билеты.

— Собирайтесь, дамы, в Москву. Праздник так празд-
ник! Гулять так гулять!

Тут уж Танюша с Сазоновной заметались туда-сюда. Гла-

дили, подшивали, пришиливали — и про поезд бы забыли, если бы не Анисимыч.

Не опоздали все-таки. Анисимыч на станциях бегал за кипятком, приносил леденцы, пирожки, а в Обираловке газету купил.

На первой полосе стихи:

Чу!.. Запел торжествующий клир
Дивный гимн воскресенья Христова,
И душа, воспринявшая мир,
Все земное оставить готова.

— Ну что, Катя, на небо махнем? — посмеивался Петр Анисимыч.

— Богохульник! — ужаснулась Сазоновна. — Ты уж молчи, ради бога. Страстная ведь, говорю, суббота!

Петр Анисимыч знал: Сазоновна нет-нет да и встанет перед иконой на колени, тайком от него и за него же у бога просит милости. Однажды посмеялся, а Катя — плакать. С той поры в этот темный чуланчик жениной души не заглядывал.

Самого-то жизнь отучила от бога, придет время — и Катя, глядишь, потихоньку снимет и спрячет свою иконку — материнское благословение.

Сошли с поезда. Весна! Почки на деревьях жирные, как воробы, а сами-то воробы верещат, кутерьмуют.

Пошли на Красную площадь.

Там уже полно народу. У кремлевской стены притулились бесчисленные палатки, ларьки, балаганы. Их поставили здесь еще на вербное воскресенье. Вербные катания на Красной площади — всем праздникам праздник. Начинал их сам генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгорукий, верхом на красавце коне, со свитой. Картинка! А потом купцы выкатывали на тысячных рысаках. Отцы семейств. Обязательно с невестами-дочками. Уж такие цветы: одно облако розовое, а другое — голубое, от одного в жар кинет, а от другого ноги так и пристынут к мостовой.

— Долгорукому-то, говорят, по шапке за долголетнее воровство дали, — сказал Сазоновне Петр Анисимыч.

— Какому такому?

— Генерал-губернатору. Теперь, говорят, брат царя Москвой править будет, — ехидно засмеялся. — Великий князь Сергей. — И Танюше показал: — В палатках-то этих на верб-

ное воскресенье чего-чего только нет. Французы вафлями торгуют, греки — золотыми рыбками.

— Дядя Петя, гляди, шарики! — ахнула Танюша...

И точно, над площадью летели связки разноцветных шаров.

— Стало быть, карманы держи, — засмеялся Петр Анисимыч.

— Почему ж карманы-то?

— Жулики шары пускают. У них это первое дело. Зеваки рты разинут, а жулики — карманы чистить.

В толпе шныряли мальчишки, надувая тещины языки, привешивая к спинам прохожих бумажные фигурки обезьянок, пауков, клопиков.

И Петр Анисимыч вдруг поймал себя на том, что он вглядывается в мальчишек: не мог он Анисима забыть.

Свистели и пищали на сто ладов дуделки, свистульки. А тут вдруг явился среди толпы «Михаил Архангел». За плечами — черные огромные крылья, в белой рубахе, босиком, с медной полковой трубой в руках.

Полез было на Лобное место, да прибежали жандармы, крылья у «Архангела» выдернули, трубой по голове угостили. Кто чего говорит. Одни — святой, другие — жулик. Одни — тронутый, мол, другие — смутьян, анархист.

А толпа растет, гудит, время близится к двенадцати.

— Пошли потеху поглядим! — потащил Петр Анисимыч своих женщин к колокольне Ивана Великого.

Возле колокольни купцы оспаривали друг у друга первый удар в колокол. У купца спор один — деньги на бочку. Купчишки, правда, толкались не из китов — мелкота: окунишки, щучки, судачки. Оттого и ставки десяти рублей не превышали. Явился известный московский торговец мясом. Предложил звонарям двадцать пять целковых. Тотчас меховщик поманил тридцаточкой. Крещеный еврей, ювелир, не пожадничал и, перекрывая разом все ставки, вынул сотенную.

Московские купцы занервничали, и мясник к двадцати пяти тотчас прибавил еще сто рублей. Зрители вздохнули, но тут, за десять минут до первого удара, прибыл Тимофей Саввич Морозов. Седой, благообразный, строгий. Работников с ним человек пять.

— Наш! — шепнул Сазоновне Петр Анисимыч.

— Кто наш?

— Кто? Морозов!

Танюшке не видать, подпрыгивает, как козочка. Ани-

симыч ее поднял, а сам росточком тоже неудачник. Толпа-то прихлынула.

— Ну чего? — спрашивает Анисимыч.

— Деньги достает.

И тотчас уважительный шепоток доложил:

— Пятьсот рублей глазом не моргнув выкинул.

Охотка торговаться пропала, звонари, удивленные небывалой ставкой, взяли деньги и повели фабриканта вверх.

— А ведь Морозовы-то старообрядцы! — ахнул кто-то.

Все задумались, но уже наступила последняя минута. Воздух дрогнул, люди кинулись христосоваться, колокола Москвы затрезвонили, с Троицкой башни ударили пушки, ракета взвилась. Из Успенского собора, окруженные тысячами свечей, понесли хоругви.

— Ночь, а никто и спать не думает — как же хорошо! — воскликнула Танюша.

Вдруг Петр Анисимыч увидел того типа, который однажды примазался к нему в трактире Бубнова. Все такой же испитой, но одет прилично. Тип показывал жандарму на кого-то глазами и быстро шептал.

— Идемте отсюда, — сказал Петр Анисимыч женщинам. Сазоновна вскинула вопрошающие глаза.

— Типа я тут одного приметил.

Не успели пробиться сквозь толпу, кто-то крикнул: «Горит!»

Промчались пожарники на лошадях. Впереди сам брандмайор. Люди друг у друга спрашивают:

— Где горит?

— То ли на Петровке, то ли в Рахмановском!

— Бежим глядеть! — крикнула Танюша, увлекая Анисимыча и Сазоновну.

Анисимыч сразу-то не отговорил, а какие смотрины на пожаре? Человек сгорел — празднику тотчас и убыло.

Домой возвращались утренним поездом. Танюша спала и во сне, вспоминая, видно, сгоревшего, вздрагивала.

— Вот и пасху справили, — сказал Петр Анисимыч. — Переберемся в Ликино. Место тихое, зеленое. Что молчишь, Сазоновна?

— Чего говорить? Куда ты, туда и я. Наш-то и вправду змей! За один удар пятьсот рублей не пожалел. На такого не наработаешься.

— Объявили уже,— преодолевая дрему, но уже не в силах открыть глаза, сказал Петр Анисимыч,— объявили, что по новому договору на полтора рубля меньше будут платить.

— Куда ж меньше-то?

— Морозову видней.

II

В праздники Тимофей Саввич в купеческом клубе кутил на виду всей Москвы. Старообрядцы, известное дело, вина в рот не берут, у них строго, но по Москве гулял зловещий шепоток: Морозовы-де злейшие враги церкви, раскольники ярые, православным людям на их фабриках всяческое утешение и неправда безобразная.

«Пронски конкурентов»,— доложили Тимофею Саввичу, и он решился дать представление.

В товарищах у Тимофея Саввича оказался томский купец Чувалдин. Этот кожами торговал, но фабричное дело показалось ему заманчивым, завел и стал прогорать. Кинулся за помощью к своему другу, нижегородцу Соболеву, а тот с рекомендательным письмом отправил его к Морозову.

Тимофей Саввич в клуб явился в самый апогей, в час ночи, тоже не без умыслу. С двух часов, по уставу, пребывающие в клубе подвергались штрафу. За первые полчаса взывали 30 копеек, за вторые — 90, за третьи — 2 рубля 10 копеек, а за последние, седьмые, — 38 рублей 10 копеек.

Разговоры Тимофей Саввич, выпив шампанского, вел громкие, и всё про театры. Вспоминал, как в семидесятых годах, когда частных театров не было, барышник Самсонов за три сезона нажил два каменных дома.

— Да и как было не нажиться?! — кричал на весь зал Тимофей Саввич. — Когда пела Патти, за кресло плачивали по сто и по двести рублей. Я сам за ложу бельэтажа выкидывал шестьсот целковых... В первом-то ряду, когда Патти пела, обязательно сидел ее муж; сначала это был маркиз Ко, потом тенор, красавец Николини. Но господа! Ради Патти и тысячу заплатить было не жалко. Запоет «Соловья» — душа на небеси. И представь себе, Чувалдин, как мудро было заведено: какую бы оперу ни давали, хоть Моцарта, хоть Россини или что-либо французское, без «Соловья» Алябьева не обходилось... Единственный, так сказать, русской

души всплеск. Сама русская опера была в полном ничтожестве. Давали два спектакля в неделю, и оба при пустых залах.

«Вот мы какие раскольники,— говорил Тимофей Саввич своим противникам,— в театрах бывали и бываем».

Но в конце концов шампанское свое дело сделало. Морозов забыл, что он приехал давать представление, и, сбавив тон, заговорил с Чувалдиным о делах. Правда, и здесь не обошлось без позы.

— Я англичанам плачу очень даже хорошо. Пожалуй, они того и не стоят, сколько я им плачу,— мерцая рысьими глазами, перегнувшись через стол и похохатывая, говорил и говорил Тимофей Саввич.— Вот гляди!

Достал книжечку в красном сафьяновом переплете, тотчас открыл ее в нужном месте. Сначала прочитал написанное вслух, а потом и показал Чувалдину. Сверх листа стояла запись:

«Англичанину — инженеру Ригу деньгами в год 12 тысяч рублей. На харчевые припасы ему же — 1717 р. 03 копейки. За его прислугу — 363 р. 80 копеек. За его лошадей — 443 р. 30 копеек. На разное — 1287 р. 62 копейки. Всего 15 811 рублей 75 копеек». Внизу листочка притулилась запись бисером: «Мастеру Шорину в год 1200 рублей».

— Чувалдин,— сказал Тимофей Саввич проникновенно,— хочешь иметь прибыльное дело — денег не жалея. Соболев Василий Алексич мой друг, а ты его друг, значит, ты тоже друг... мой. Мой друг... Я от тебя ничего скрывать не буду, но помни — денег не жалея... Только на что? На английских инженеров. Шорину своему, а он у меня, как собака, как верный цепной пес, я кидаю 1200, а Ригу, чужому человеку, — шестнадцать тысяч... Запомни, Чувалдин, верность стоит дешево. Дорогая вещь, но стоит дешево. Упаси тебя бог за верность переплатить. Переплатишь, как перекормишь. Закормленные псы служат дурно. Руки, самые раззолотые, — это тоже все свое и тоже ничего не стоят. Плати за мозги. Много плати, не щадя мошны. И тогда мошна не опустеет. Запомнил?

Тимофей Саввич говорил все это, как бы совершенно запянев. Сказал, выхлестал фужер шампанского, нарочито долго выбирал себе закуску и взял соленный огурец, похрустывая, оглядывая зал победителем.

Чувалдин давно смекнул, что участвует в какой-то непо-

нятной игре, и потому говорил мало, разве что спрашивал иногда:

— Тимофей Саввич, скажи, будь милостив, кризис-то одолеем?

Прежде чем ответить, Морозов позвал официанта, спросил сигару. Закурил. Курил ловко, дым пошел у него колечками. И поглядывая на сибиряка через эти колечки, словно бы хотел. Впрочем, совершенно беззвучно.

— Я, Чувалдин, ни одного рабочего за ворота не выставил. Ни одного. А заработок за год понижал три раза. После пасхи будет у меня еще одно понижение, четвертое. Однако веро — рабочие не разбегутся, бежать некуда.

— Понижение и англичан ваших касается?

— Ну, зачем же? Заграничный человек наших внутренних дел не понимает, и даже более того, имеет к ним полное презрение... Я, Чувалдин, своего сына после университета в Англию отправил. Пусть учится, детям тяжелее придется. Мы вон как развернулись, а какая у нас грамота? Уже теперь не все охватываешь, а дело растет, ширится.

Чувалдин тихонько засмеялся.

— Моя школа и мой университет — беглый солдат Скрыпа. Двойные и тройные слоги, ангельские склады, прасодии по верхам: аз-глагол, глагол-титла, люди-ер-аз... Скрыпа у нас в деревне лет двадцать прятался. Знаменитый был угодник. Пришла за ним полиция, в избе темно. Урядник и попросил огня. Скрыпа говорит: «Позвольте пройти к печи, я огня достану». А за печкой у него узкий ход был в молельню. Он — туда, оттуда — в сени и через заднее крыльцо в прогон. Там казак стоит, он ему и говорит страшным шепотом: «Велено идти к главному крыльцу». Казак поверил, а Скрыпа — в овраг, и был таков.

Тимофей Саввич слушал Чувалдина серьезно, как бы даже грустя, но стоило рассказчику остановиться, тотчас самым официальным голосом предложил допить шампанское.

— Пять часов уже! За одно сидение придется заплатить страшные, можно сказать, деньги. Поглядел бы мой отец на это, пожалуй, и проклял бы. И даже не за питье вина, за пустое мотовство.

— А меня вот и клясть некому, — развел руками Чувалдин. — Я — купец первого колена. Основатель дома.

В мундире, с лентой ордена «Андрея Первозванного» через плечо, император Александр III сам подходил к награжденному, слегка поворачивался к министру двора графу Воронцову-Дашкову, брал у него медаль на цепи и, растягивая цепь, опускал ее на подставленную очередную голову.

Награждались туркмены-старшины, прибывшие из Мерва сообщить русскому императору о решении чрезвычайного Маслахата. Вдова Нурберды-хана Гюль-Джамал, отстранив от дел своего сына Мухтумкули-хана, созвала Маслахат, который провозгласил: Мервский оазис добровольно присоединяется к России в качестве Мервского уезда Закаспийской области.

В свите императора среди генералов в форме русского офицера находился Тыкма-сердар, самый знаменитый полководец Туркмении. Совсем еще недавно Тыкма-сердар защищал от генерала Скобелева крепость Геок-Тепе, но смог продержаться всего три недели. Тыкма-сердар вместе с Махтумкули-ханом бежали в Мерв. Там вокруг Махтумкули-хана тотчас закружился хоровод английских агентов. Набеги из Персии, стычки с русской армией. Гибли люди, гибли посевы, земля умирала от безводья, табуны коней и отары овец становились военной добычей, народ страдал от голода, и мудрая Гюль-Джамал отправила в Петербург Тыкма-сердара.

Сердару показали необъятную империю, бесчисленную армию, его обласкали, одарили, наградили, и в Мерве пошла молва: мира и покоя надо искать у русских. Народ можно было унять плетью, но когда о мире заговорили ближайшие нукары Махтумкули-хана, вся власть перешла к Гюль-Джамал.

Старшины Мерва сообщили также, что под защиту русских хотят пойти туркмены Иолотанского оазиса.

Император был доволен. На обеде в честь туркменских старшин он посадил Тыкма-сердара возле себя и, улучив минуту, самодовольно сказал министру финансов Гирсу:

— Вы мне все о бедах хлопчатобумажных фабрик толкуете, и вот вам мой ответ: вот вам горячие земли Средней Азии, где хлопок родится не хуже, чем в Египте.

— Ваше величество,— ответил министр,— но откуда взять деньги на освоение диких земель?

— Деньги возьмите с фабрикантов, расходы, без всякого сомнения, оправдают себя.

— Ваше величество, а знаете ли вы, сколько Россия ввозит хлопка и пряжи из-за границы? Еще в 1860 году, в царствие вашего отца, императора Александра II, хлопка-сырца ввозили два миллиона шестьсот тысяч, а пряжи двести десять тысяч пудов, теперь же, в наш машинный век...

— Я понял вас, господин министр, вы хотите получить деньги из казны. Денег не будет. Убежден, что Англия не потерпит наших успехов в Средней Азии. Деньги пойдут на вооружение.



С ФАБРИКИ НА ФАБРИКУ

I

Мoiseенко с семьей жил и работал в Ликино. Здесь штрафами хозяева не увлекались, платили побольше. И все бы хорошо, но Петр Анисимыч каждую неделю ходил в Орехово.

Совесть покоя не давала. На глазах людей обирают, а у них ни защитника и ни единой звездочки впереди. Пропадают сами и, глядишь, пропастью своей все вокруг, как чумой, заразят.

* * *

— С осени, Танюша, в школу собирайся! — сказал однажды Петр Анисимыч.

— Да, Танюша, — призадумалась Сазоновна, — пока мы с Анисимычем в силе, походи в школу, хоть года два. Неграмотный человек как слепой — всяк обидит, у кого совести нет.

Придумали-то хорошо, сами себя за такую придумку похвалили, а пошли узнавать — задача. Школа в Ликине одна, и принимали туда только детей старообрядцев.

К вечеру, после работы — в июне солнце на закат от зем-

ной красоты уходит нехотя,—сбегал Петр Анисимыч в лес, земляники принес.

За чаепитием, на легком-то настрое, и говорит он Сазоновне:

— Катя, ты только сразу-то не ругайся, а вот что я тебе скажу: давай в старую веру перейдем. Ради Танюшкиной удачи в жизни я готов и двумя перстами лоб крестить.

Сазоновна чуть с лавки не упала.

Ругаться не ругалась, а всю ночь лампаду жгла, молитвы шептала, с Анисимычем ни полсловечка: экий, мол, еретик!

Ну, помолчали так с неделю, надоело. Сазоновна первая заговорила:

— Нет, Анисимыч, против веры отцов не пойду, чего-нибудь другое придумать надо.

Перед самым сном сказала.

С утра — день выходной — ушел Анисимыч в Орехово, а Сазоновна на радостях, что размолвке конец, да и погода золотая стояла, пошла цветы с Тачюшей собирать. Хотелось Сазоновне Анисимыча как бы невзначай встретить — дорога-то одна, мимо не пройдет.

Как на грех, наскочили на фабричного директора. Он, вишь, собачку свою прогуливать ходил. Поле — одни колокольчики, и Сазоновна с Танюшей — синеглазки. Ну, директор и разулыбался. Охотник был до женской красоты. Подозвал цветочниц к себе:

— Сделайте милость, одарите букетом.

Был бы сиволапым мужиком, Сазоновна не постеснялась бы: нагнись, мол, сам да и сорви. А тут — директор, вежливый, культурный человек, да и про Таню тотчас думка мелькнула: коль этому господину угодить — смотришь, поможет в школу устроиться. Дали директору цветов, а он обеих конфетами угостил. В этот самый миг угощения Петр Анисимыч и вышел из лесу. Сазоновна с Танюшей бегом к нему навстречу, а он зыркнул на них, на директора — и мимо. Заревновал, видно. Да и то — слава у господина директора самая дурная. Так гуськом и добежали до каморки. А в каморке повернулся Петр Анисимыч к жене, а глаза у него аж белые.

— Веру поменять грех, говоришь? «Чего-нибудь другое придумать надо». Славно придумали!

И пошел, что под руку попало, крушить, рвать и в окош-

ко выкидывать. Сазоновна с Танюшей из каморки выскочили, тут, конечно, женщины на шум сбежались. Пересуды. Новый ткач-то, хороший-то,— буян!

А Петр Анисимыч уже в себя пришел. Хожалый примчался, а новый ткач идет ему навстречу, голову опустив.

— Пьян?

— Нет.

У хожалого нос, как хобот, за версту пьяного чует: сам непьющий, старой веры. Видит, точно,— трезвый вполне человек.

На виду у всех, как на судилище, подобрал Анисимыч все, что в окошко выкинул, принес в каморку, встал перед Сазоновной, покрутил горестно головой и ушел из дому.

Утром явился с расчетными книжками.

— Собирай, Сазоновна, чего попортить не успел. Пошли отсюда.

А Сазоновна и не спросила, куда идти. Навязала три узелка: себе, Анисимычу, Танюше. И пошла за мужем следом.

Шли по Богородской дороге.

«На Глуховскую мануфактуру, видать»,— догадалась Сазоновна.

Отдохнуть присели. Вот и посмотрел Сазоновне Анисимыч в первый раз за все эти безобразные дни в глаза и сказал:

— Коли можешь, прости... Не в себе был. В Орехове-то Гавриле Чирьеву руку оторвало, а Прасковья, как узнала, в Клязьму кинулась. Не нашли... А тут этот с конфетками, а ты ему улыбаешься.

У Кати слезы так и потекли.

— Анисимыч, ведь я ради тебя в кандалах хаживала! Через всю Россию, через всю Сибирь! Ах, Анисимыч!

А ему и самому хоть белугой реви. Плачь не плачь — дело сделано.

* * *

Фабричных квартир у Ивана Морозова не было. Угол нашли в селе Ключеве, в двух верстах от фабрики. Жизнь фабричная на одну колодку. От смены до смены: то дневные, то в ночь. Вертелись бешено шпули, летел пух, грохотали челноки, набивая ткачам мозоли на перепонках в ушах.

— Каждую ночь мне Прасковья Чирьева снится,— признался Кате Петр Анисимыч.— Чего-то говорит, а шум, как на фабрике, ничего не слышу. Одно знаю, корит она меня.

— Хвалить, видно, не за что. Сам говорил: у ореховцев ни защитника и ни единой звездочки впереди. Сказать сказал, а сам — в Ликино, в Глухово...

Анисимыч щи хлебал — ложку до рта не донес после слов этих. Поглядел на Сазоновну, а она на него глядит.

«Ведь коли встрять, и жандармы будут, и кандалы, и этапы невесть в какую сторону, да только не к теплу и от людей подальше».

«И жандармы будут, и кандалы, и этапы невесть в какую сторону, а только — такое твое знамя».

«О, великая ты, жена моя, которой от меня горе и забота и вечный труд».

«Будь, Анисимыч, самим собою, на меня не оборачивайся. Я всегда возле тебя. И что ты стерпишь, то и я стерплю. Твой крест — мой крест».

Не словами — сердца у них все это отстучали друг другу, и Анисимыч опять за ложку взялся, а Сазоновна налила щей Танюше да себе и, перекрестясь, села за стол.

Той же ночью Петр Анисимыч написал в Смоленскую губернию письмо.

«Дорогой мой друг и товарищ Лука!

Я, поживши сам для себя в Ликино и на Глуховской мануфактуре, твердо решил вернуться в Орехово, к Савве Морозову. Одному мне будет там скучно, приезжай, друг сердечный. Вдвоем нам хоть праздники справлять будет веселее».

Ну, и поклонов штук тридцать, от жены, от брата, от бабушки, от свата, от дяди родного да от дяди чужого.

Письма Луки, человека ненадежного, отбывшего сибирскую ссылку, наверняка читают.

II

Государь император пекся «о славе и благе России», но он не мыслил этой славы и блага без своего посредничества. Он был убежден: без царя русский дикий народ сам себя зарежет. И царь считал себя вправе выбирать для своего народа счастье по его, царевой, мерке.

Фабрикант и купец Тимофей Саввич Морозов тоже почитал себя благодетелем народным. Ведь кабы не он, тысячи людей остались бы без работы, без крова, без пропитания. А потому он оставлял за собою право давать рабочим столько, сколько, по его мнению, достанет на еду им и на водку. Больше давать смысла нет — пропьют, проедят да и вообще разбалуются.

И никому не было дела ни до Прасковьи, ни до Гаврилы Чирьевых, ни до их многих чад.

Потому-то ни мастер Шорин, ни директор мануфактуры Дианов, ни владелец Морозов, ни хозяин всяя Руси Романов не придали никакого значения тому факту, что есть еще Моисеенко — строптивый ткач, не желавший признавать штрафов за здорово живешь, что ткач мыкается непонятным образом с фабрики на фабрику и что, помыкавшись этак, он вернул почему-то на самую для себя невыгодную.

На Никольскую мануфактуру «Товарищества Саввы Морозова, сын и К^о» ткач Петр Анисимович Моисеенко во второй раз поступил 9 ноября 1884 года.

Через несколько дней приехал в Орехово Лука Иванов Абраменков. Чтобы не провалить дела, если кого из них схватят, решили Луку устроить на фабрике у Смирнова. Туда же, к брату Моисеенко, отправили и Танюшу. За лето девочка вытянулась, повзрослела, и ее приняли на фабрику.

«Опытный товарищ рядом, родные в безопасности, окромя Сазоновны, — за дело», — сказал себе Моисеенко.

Он пошел в библиотеку, взял полюбившийся ему журнал «Вестник Европы», номер пятый за 1871 год, и ночь напролет читал «Стеньку Разина».

— Петя, ты все не спишь? — пробудилась Сазоновна. — Работать-то как весь день будешь? Хоть часок поспи.

— Э, Катя! До сна ли теперь? Ты вот послушай, что Стенька-то говорит:

Не удалось! Пусть пробует другой!
Авось другой меня счастливей будет.

Слышь: «Пусть пробует другой».

— Глаза испортишь, буквы-то вон какие маленькие, как букашки! Ложись.

— Не заснуть мне нынче, Катя. И на мал час не заснуть. Прогуляться, что ли?

— Да ведь ночь, мороз.

— Вот и хорошо, глаз меньше. А то, это самое, выглядит кто мои думки да и побежит доносить.

Обнял жену дурачась, а поглядел серьезно и печально.

— Анисимыч, не бойся за меня! Делай все, как знаешь! — сказала быстро Сазоновна и вдруг поцеловала ему руки.

Анисимыч даже вскочил.

— Катя, ты чего, это самое?

— Так! Счастливая я, Петя.

— За все-то мои ссылки да этапы?

— Счастливая я, Петя. Верно говорю. За людей пострадать — не каждому такая сила дана.

Петр Анисимыч сел на краешек постели, взял за руку Сазоновну. Вот так же, взявшись за руки, сидели они на заваulinке, когда в ухажерах-то хаживал. С той поры далеко их судьба на крыльях своих носила: и в сам Петербург, и в саму Сибирь, а впереди, как за окошком, — темным-темно.

— А ведь брезжит! — восторженно воскликнул Анисимыч.

— Что?

— За окном, говорю, брезжит.

И обрадовался. Легонько чмокнул Катю в щеку, набросил шипун, ноги в валенки и осторожно выскользнул из каморки.

Было у него в Орехове заветное место. Любил на мосту одиноко постоять. Переметенная снегом Клязьма внизу. Тропинки наискосок от серых, как воробьиная стая, зуевских деревянных домишек к кирпичным утесам бумагопрядильной фабрики — каменному дьяволу, мельнице, где вместо зерна перемалывают людей. Над трубами, как из преисподней, столбы клубящегося, густого, тяжелого дыма и пара. По Орехову цепочкой двухэтажные дома купцов, низ каменный, верх деревянный. Внизу лавки, вверху жилые комнаты. Рабочие казармы в предутреннем сумраке страшны, громоздки, как тюремные замки.

И слева — город, и справа — город, хоть ни Зуево, ни Орехово городским достоинством не почтены. Одно имя этому скопищу фабрик, домов, трактиров, лавок — Громада. И на всю эту Громаду один он выискался, чтоб замахнуться. Как знать, ударить, может, и не придется, но ведь хоть замахнуться-то должен кто-то? Стенька Разин на все царство не побоялся руки поднять, а уж эта Громада, какую и представить себе невозможно.

Как медленно светает.

Заскрипел резко и тяжело снег. К мосту двигался обоз.

Довольно полуночничать, в окошках вспыхивает, преломляясь сквозь морозные узоры, свет. Печи начинают топить. Скоро на работу.

— Нехай! — крикнул по-разински Анисимыч и показал кулак кирпичному дьяволу.

Пустое озорство, а спокойней на душе стало.

Вечером Петр Анисимыч вынес в коридор любезный свой «Вестник Европы».

— Мужики, — сказал курильщикам, — хотите, почитаю? Куда как книжка хороша.

— Отчего ж не почитать — почитай, — согласились. — Только давай и баб позовем, им тоже охота книжку послушать, особливо если про Чуркина.

— Не про Чуркина, про Стеньку Разина.

— Так он же — проклятый разбойник. Ему анафему в церквах говорят.

— Кто говорит-то, смекните!

— Известное дело, кто — попы!

— А Стенька, это самое, попов и душил и топил, потому как боярам они да купцам — первые подпевалы.

Драматическая хроника о Разине занимала в книге больше ста страниц, написана белыми стихами, но читал ее Анисимыч так, словно заветную тайну открывал. Половину прочитал, изнемог, хотел до завтра отложить, а все просят:

— Анисимыч, уважь. Еще почитай. Стенька-то!.. Мы думали — злодей и душегуб, а он нашего поля ягода, за бедных стоял.

Квасу принесли чтецу, чтоб голос не пропал.

Допоздна засиделись. А на следующий день из другой казармы пришли.

— Не откажи, Анисимыч, в нашей казарме про Степана Тимофеевича почитать.

Пошел к соседям. В два вечера управился. А тут новые ходоки, с фабрики Викулы.

Разговоры после чтения не шуточные. Все хвалят Стеньку, все его жалеют. «За что же, — говорят, — анафеме такого народного заступника предали?»

Привели этак Петра Анисимыча в одну казарму, а сторожем в ней Гаврила Чирьев. Как из Глухова вернулся, искал

Анисимыч Гаврилу, да не нашел. Видно, тот не больно хотел встречи. Знал небось, что старый приятель ищет его.

Рукав у Гаврилы пустой. Глянул на Петра Анисимыча глаза отвел и тотчас будто спохватился и убежал куда-то.

Начал Анисимыч свое чтение. Вдруг крик, визг. Слышит — знакомый голос:

— Вижу! Вижу! Быть мору и гладу! Взирай с прилежанием, тленный человеке, како век твой проходит и смерть недалече! Текут время и лета во мгновение ока, солнце скоро шествует к западу с востока.

В конце коридора провидица, с ней рядом бабы ее черные и Гаврила Чирьев. Голос у провидицы хриплый, на морозе все пророчествует, ну, Анисимыч тотчас и решил: была не была! Зазвенел во весь свой огромный козлетон, а слова как раз горячие пошли:

Пришла пора. Теперь вы сами баре!
Довольно слез и крови с вас собрали.
Довольно тешились, потешьтесь-ка и вы!
Жги! Режь! Топи! Секи! Да вешай!
Не оставлять в живых ни одного!
Я с корнем вырву племя дармоедов!

Провидица от неожиданности и примолкла. Спыхватилась, заверещала, да ей кто-то из молодых такое загнул, пынула, как черная клуша, — и вон, грозя всему белому свету.

А как домой возвращался Петр Анисимыч — встретили. У балаганов. Двое дорогу загородили, а третий — в стороне, правая рука в кармане — сам Лачин. Оглянулся Петр Анисимыч назад — четвертый. Отскочил к балагану, прижался спиной к бревнам.

— Подходи! Одного из вас, но порешу! — и руку за пазуху! А там — «Вестник Европы», ненадежное оружие.

И вдруг развеселые голоса:

— На кого шумишь, Анисимыч?

Выходят из-за балагана Матвей Петров да Ефим Скворцов.

Засвистел Лачин в четыре пальца — и только топот убегающих.

— Ну, ребята, — говорит Анисимыч, — вовремя вы появились. Несдобровать бы мне... Видно, кому-то поперек горла мой Стенька встал... Придется гирьку с собой носить.

— А ты и так ходи, Анисимыч! — Ефим достал из-под пальто толстый железный прут. — Не хуже любого кинжала.

— О-о-о! — удивился Анисимыч. — Так вы не случаем

оказались поблизости? Сами догадались или кто подсказал?

— И сами, и наши казарменные. Ты, Анисимыч, делай свое дело, а мы свое тоже знаем.

До самой каморки проводили.

Сазоновне ничего не сказал, но призадумался. Неделью назад его перевели с полуторных станков на трехчетвертные: материал уже, заработок ниже. Старые станки на ремонт поставили. Потому и не обратил на это внимания Анисимыч, а теперь прояснилось — хотят заработком пугнуть. И точно!

За две недели работы начислили ему 4 рубля 36 копеек. Рубль — на штрафы. А Сазоновна за две недели два с половиной заработала, и тоже рубль долой.

— Держись, старина! — сказал себе Анисимыч. — Война объявлена. Теперь кто кого.



ПОДГОТОВКА

I

В мужской уборной табачный синий дым и тяжкая ругань до смерти уставших мужчин.

Моисеенко достал папироску, попросил огонька. Огонька дали, но кто-то заворчал:

— Эко нас набилось! Шорину доложат — даст разгон.

— Пусть только покажется! — рявкнул огромный, плоский, словно его через машину пропустили, ткач. — Пусть он только покажется — утоплю. В этой вот дыре утоплю.

Один криком кричит, да остальные молчат. Совестно друг дружке поглядеть в глаза за эту молчанку.

Были в уборной Ефим и Матвей.

Ефим протиснулся к Петру Анисимычу.

— Анисимыч, ты — грамотей. Делать-то что, ради бога, надоумь. Девчонка у меня родилась. Чахленькая. А жена совсем никуда. На глазах помирают. Их бы подкормить, а на что? — Выхватил из-за пазухи расчетную книжку: — Ты погляди. Три рубля заработку, а штрафов взяли рубль двадцать восемь копеек. Только не подохнуть.

Моисеенко взял книжку, а сам исподволь разглядывал ткачей: нет ли чужого.

— Надо что-то делать! — потряс кудлатой головой плоскогрудый ткач. — Терпения больше нет.

— А что сделаешь? — ответили ему. — К мастеру ходили, к самому Тимофею Саввичу ходили.

— Когда же это? И что он вам сказал? — спросил Моисеенко.

— Перед покровом были у него. А чего сказал? Правду сказал, только от нее не легче. Просили штрафы убавить, а он говорит, не убавлю, а еще и прибавлю, потому как товар некуда сбыть.

Плоскогрудый ткач поднял на Моисеенко детские, незлобивые глаза.

— Мы-то ладно, работяги. К нему подмастерья ходили. Посильней нас люди, а он им говорит: у меня убытку пять миллионов. Коли разорюсь, с голоду не помру. У меня дом в Москве, торговля, как-нибудь доживу остаток дней моих, а вы ведь все с голоду передохнете.

— Правду сказал, — откликнулись.

— Может, это самое, и правильно, — сказал Моисеенко, как бы раздумывая. — Кто его знает? Только читал я государственный журнал «Отечественные записки». При покойном государе такой журнал в самом Петербурге выпускали. Так там было написано, что каждый русский рабочий в год вырабатывает на тысячу четыреста семьдесят семь рублей. Вот и сосчитайте: нам по десятке за месяц — сто двадцать рублей за год, а Морозову с каждого из нас в карман — тысячу триста пятьдесят семь целковых.

— Какое там по десятке! — заорал Ефим. — Теперь-то уж и шести рублей не заработаешь...

— Тише вы! — шикнули. — Тише!

И вдруг из-за стены, из женской уборной, припустился на них по-казарменному задиристый женский голос:

— Бабы вы! Стенку-то эту зря поставили, потому как вы не мужики, а бабы! «Тише! Тише»!.. Кот на крыше! Забились в нужник и друг перед дружкой выступают. Нашим кашеям начхать на вашу болтовню пустомельную!

И тотчас кто-то из женщин засвистел пронзительно, по-мальчишески. И топот ног. Разбежались.

— Во как нас! — засмеялся Моисеенко. — Поделом. Уж больно все мы себе на уме. Будто и вправду ждем чего-то: то

ли пока бабы взбунтуются, то ли манну небесную. Говорят, в старинные года сыпалась с небес. Только попроси.

Сказал и ушел работать.

Вовремя ушел: в уборную спешили подручные мастера Шорина.

— Работать! Сейчас всех перепишем. Штрафу с бездельников — рубль, а с курильщиков — три.

Ладно бы только пригрозили, но ведь и переписали.

Вечером Моисеенко опять читал в одной казарме «Стеньку Разина». Только попросил роздыху, какая-то женщина и скажи:

— Про Стеньку слушать куда как интересно, да только, говорят, у тебя есть книга получше этой. В той книге, говорят, про нас, рабочих, написано и что рабочие в год на тыщу рублей вырабатывают. Правда аль нет?

— Правда,— ответил Моисеенко,— я действительно читал, в журнале «Отечественные записки», что каждый рабочий в год, это самое, только не на тысячу, а на тысячу четыреста семьдесят семь рублей вырабатывает.

Поднялся шум, на шум хожалый явился.

— Скоро праздник великий, рождество Христово, а вы про Стеньку-разбойника читаете. А ну-ка все по каморкам али в церковь!

И лампу погасил.

На следующий день Моисеенко позвали в контору. Вежливый, хорошо одетый человек пригласил сесть, приказал подать чаю и за чаем, разговаривая о литературе, весьма одобрительно отозвался о способности ткача читать вслух драмы.

— Я вам скажу совершенно доверительно,— конторщик слегка наклонился и как бы и голос приглушил,— был у меня разговор с молодым хозяином, Саввой Тимофеевичем, тет-а-тет, разумеется. Молодой хозяин предлагает создать из рабочих-любителей нечто вроде постоянного театра. Это отвлечет народ от пьянства, и вообще это прекрасно. А как вы думаете?

— О хорошем деле только разве по большой злобе плохо сказать можно.

— Вы умный человек, Моисеенко. Умного человека по глазам видно. Мы тут подумали и решили предложить вам, щадя ваш талант и склонность к чтению, а также учитывая теперешнюю сложную, очень сложную обстановку. Театр—это ведь тоже не сразу, а когда схлынет волна кризиса, когда жизнь

войдет в спокойное русло... Так вот, мы выхлопотали вам, господин Моисеенко, место в продовольственном магазине.

Конторщик прямо светился, до того ему нравилось быть благодетелем.

«Так,— думал Моиссенко, торопливо перебирая в памяти события последних недель.— Стало быть, за мной следили. Стало быть, и провидица являлась на чтения не случайно. И жохалый вчера вот вмешался. И встречали и заработок срезали. Домашним способом хотят приручить».

Углядев на лице ткача озабоченность, конторщик, все еще улыбаясь, сказал:

— Я понимаю, предложение весьма неожиданное. Подумайте, но на вашем месте, признаюсь, я бы и размышлять не стал. Вас по уровню жизни ожидает разительная перемена: ткач — и торговец!

— А я уже и теперь решил.— Моисеенко со всей приятностью на улыбку ответил улыбкой.— Я ткач. Я только это и умею. А торговцем быть боюсь, тотчас просчитаюсь. Я, это самое, в грамоте не больно силен. Читать читаю, а вот считать — увольте.

— Значит, вы отказываетесь от предложения? — удивился конторщик.

Моисеенко развел руками.

— Ну что ж, прощайте! — Конторщик резво встал.

Моисеенко кивнул, подхватил шапочку — и за дверь.

«Теперь держись, браток,— говорил он себе, сбегая по железным литым ступеням со второго этажа.— Гляди в оба».

Сазоновне ничего не сказал, но глубокой ночью явился вдруг к нему на дом Гаврила Чирьев.

— Прости, Сазоновна, за поздний час! — поклонился Гаврила сидящей на постели Сазоновне, заспанной, непричесанной, в торопливо натянутом платье.— Я, Анисимыч, сказать тебе пришел. Только вот при Сазоновне — нет, не решусь.

— Сазоновну нечего, это самое, пужаться. У меня секретов от нее не бывает.

— Нет, Анисимыч, не могу.

— Коли такое дело, на полати, что ли, полезем. Там и пошепешь.

— Да погодите, мужики! — встряла Сазоновна.— В кубковую пойду. За кипятком. Чайку заварю.

Только за Катей закрылась дверь, Гаврила, соскочив проворно с табуретки, встал перед Анисимычем на колени:

— Прости.

— Это самое, что за новость такая?

— Богом тебя прошу, Петр Анисимыч, прости.

— За что простить-то?

— За все! За бабу-провидицу. Я ж ведь сам за нею бегал, как ты пришел читать в казарму. За то, что в контору ходил о тебе рассказывать.

Петр Анисимыч сдвинул рыжеватые брови, бороду в кулак и к окошку отвернулся.

— Анисимыч,— заплакал вдруг Гаврила,— ведь коли бы не это — без руки-то кому я нужен со всем моим гнездом неоперившимся? За это и взяли сторожем, каморку дали. Прасковья, царство ей... коли бы узнала, кем я стал, прибила бы небось. А я слаб. Мне бы тоже в речку кинуться, да не смогу... Ты можешь и прогнать меня, но я тебе скажу: сторожись, глядят за тобой. Дворовый приказчик по всем казармам прошел, где ты читал. Расспрашивал. Я ведь ради Прасковьи пришел, ради памяти ее. Один ты и был нашим другом. Один ты, сам бедняк, от себя отрывал ради нищеты нашей.

— Встань, Гаврила. Садись к столу.

— Нет. За твой стол мне совесть не позволит сесть.

— Спасибо, однако, что сказал.— Анисимыч глянул на безрукого горемыку пронзительно.— Ты вот что, Гаврила. Понимаю — выхода иного у тебя не было, но совесть в тебе, это самое, есть, совесть-то! Вот ты и будь на нашей стороне. Нашу, рабочую, пользу соблюдай, когда докладывать-то станешь. Пусть они думают, что ты их и душой и телом, а ты — нашим будь. Нашим на их службе.

— Ох, Анисимыч! Лютая, скажу тебе, доля у хриstopродавца. Никогда не забуду, что не плюнул ты в харю мне, что в мерзости моей не оттолкнул. Только скажи, чего делать?

— Пока ничего, а когда надо будет, скажу. За кем, кроме меня, следить-то тебе велено?

— Еще за Волковым.

— Не знаю такого.

— Адвокатом его зовут. Как и ты, за слабых вступается.

— Вот ты мне его и покажи при случае.

— Покажу, он человек новый, на пасху нанялся.

· Вошла Сазонова:

— Ты чего стоишь, Гаврила? У нас конфеты есть, пирога кусок, с капустой.

— Нет, пойду. Спасибо.— Опустил голову и вышел.

— Чего это он? — поглядела Катя на мужа.

— Совестью болен.

Сазоновна погасила свет и легла.

— А вот если бы я у тебя лавочником был? — спросил вдруг Анисимыч.

— Если бы да кабы.

— Ну, а если бы вот взял бы да стал? Больше бы ты меня любила?

— Больше, как я люблю, любить нельзя,— серьезно и печально сказала Катя.— А вот если бы ты в лавке торговал? Задумалась. Анисимыч так и затаился.

— Правду тебе скажу,— будто издали долетел голос Кати,— если бы в лавке торговал, меньше бы любила, а то и совсем не любила бы.

— Это что ж выходит, чем бедней, тем милей? Выходит, это самое, не меня любишь, а мою бедность, что ли?

— Да ведь тогда бы любить тебя было не за что. Ты за правду борец, а тогда бы за один карман свой страдал. А таких страдальцев ой как много.

— Так тебе, значит, подавай особого!

— Особого. Каких много — не надобны.

— Да когда ты замуж за меня вышла, я был дурак дураком. Темный, как горшок в погребе.

— Так я ведь тоже, как горшок, была, а с тобой мне и по-светлее. Сам ты посветлел, и я от тебя.

— Вон как непросто все! — удивился Анисимыч, заложил руки за голову и задумался.

И Сазоновна тоже лежала руки за голову, глядела в потолок и думала. И за себя, свое, женское, привычное, и за мужа, о его заботе, через которую, как бы дело ни повернулось,— ему тюрьма, ей слезы, и голод, и горькая ее любовь святая. И, подумав так, она поцеловала его, сильно, и Анисимыч затосковал сердцем о ней. Потому как разлука их не за горами, и кто его знает, каковы эти будут горы, перешагнет ли она их, отыскивая своего принца в лаптях на краю земли.

Теперь после работы и во время обеденного перерыва Моисеенко ходил на железнодорожную станцию. Дела своего он никому не хотел поручить, да и оказалось оно не слишком сложным.

Ему нужно было точно знать, какими силами располагают местные власти. При фабрике был полицейский надзиратель Пашка Васильев, здоровый мужик двадцати шести лет от роду. Был он незлобив и непамятлив на обиды, кулаки имел огромные и решительные. Хулиганистые его боялись, а народ — не сказать чтоб любил, кто же полицейских любит, но за спиной фигу ему не показывали. Пашка по пустому делу в каталажку не потащит.

Вся карательная сила находилась в Орехове при станции, и, как Моисеенко выглядел и подсчитал, полицейских и жандармов было тут никак не больше двенадцати человек. Жандармы выходили к поездам, прогуливались по вокзалу, сонные, важные. Ничего-то для себя опасного в ореховском воздухе они не чуяли, и Петр Анисимыч вполне успокоился: столь brave и сытые молодцы, когда настанет время действовать, наверняка попрячутся.

Пришла озорная мысль заручиться поддержкой у самого Шорина. Прикинулся простаком, залетел к нему в контору.

Человек немолодой, грустный, пьющий на английский манер, запершись у себя дома, в одиночестве и до полного беспомощства, он, нарушая все правила, таясь, как школьник, читал на работе книжку о Робинзоне Крузо. За этим чтением и застал Анисимыч мастера, заскочив к нему вдруг, без стука.

Шорин вздрогнул, закрыл книжку, спрятал в стол и покраснел. Он тотчас опаматовался, хотел заорать на ткача, но тот как-то уморительно шаркнул ножкой и пролепетал:

— Александр Иванович, к вам-с. Защиты ишу.

— Защиты? — удивился Шорин.

— Защиты-с. Работать нельзя. Это самое, дворовая администрация на меня косится за то, что книжки читаю-с.

— Какие книги?

— Беру в библиотеке и читаю. Так что дайте мне расчет, коли неугоден.

— Погоди трещать! — вспыхнул Шорин. — Я тебя знаю, ты же лучший у нас ткач. Иди работай, а на дворовую администрацию плюнь. Вечно чего-нибудь выдумают. Для того и устроена библиотека, чтоб книги брали и читали. Работай и будь спокоен — ничего тебе не сделают за пристрастие к чтению.

«Так», — отметил себе Петр Анисимыч. — Этот тоже ничего не чувствует. Для него недовольство рабочих — привычное дело. Меня он теперь запомнил — в случае чего, хорошим свидетелем будет».

Прямо от Шорина в уборную пошел. Народу было немного, но говорили уже все смело, сходились на одном — с таким запуганным народом ничего поделывать нельзя.

— Не поделаешь, пока не делаешь,— вставил словцо Моисеенко,— а станешь делать, так и сделаешь.

— Ты нас коришь, а сам все в сторонке,— упрекнул его все тот же здоровенный плоскогрудый ткач.

— Коли не языком болтать, а дело делать, тут я с вами. А дело, это самое... фабрику нужно остановить. Другого выхода нет. Если фабрику остановим, то и господин Морозов этого не скроет и никаким сальцем не замажет. Начальство московское приедет. Да и мы сложа руки сидеть не будем. Подадим прошение губернатору или телеграмму пошлем на высочайшее имя. Тогда только и возьмутся разбирать наше дело, весь штраф незаконный вернут.

— У Лепешкина на Вознесенской фабрике забастовка,— сказал красивый, видный из себя ткач.

Петр Анисимыч знал, что этот на третьем этаже работает, молоденькие ткачихи на него поглядеть бегают, а он мужик серьезный, все вокруг жены своей, станки у них рядом. У кого язык злой, не забывают прошипеть: «Лопух, кралю выискал». А жена у него, верно, как воробушек. И волосы у нее серые, и глаза, и лицо. Без доктора ясно, что болен человек.

— У Лепешкина, говоришь, забастовали? — переспросил Моисеенко.— Молодцы! Умеют, значит, за себя постоять. И нам так-то вот надо. Сами за себя не вступимся, никто о нас и не вспомнит.

Говорил жестко, глядя на этого ткача. «А ведь он тоже болен,— догадка пришла.— Вон какие розы на щеках чахотка распустила».

— Праздники близко,— вздохнул плоскогрудый ткач,— проводим праздники, тогда и возьмемся.

— Шорин идет! — замахал руками Ефим.

Разошлись, а ткач, тот, что с третьего этажа пришел, хотел, видно, с Моисеенко словом перекинуться, замешкался и в дверях на мастера налетел.

— Почему гуляешь во время работы? — прикрикнул Шорин.

— К браковщикам ходил, штраф неверно записали.

— Сколько?

— Тридцать шесть копеек.

Шорин достал книжечку.

— Фамилия?

— Волков.

— За то, что шляешься, и за то, что жалуешься,— штрафу тебе семьдесят две копейки. Поди скажи об этом старшему браковщику. Учти, я тебе это записал. Не пойдешь — еще вдвое оштрафую.

— Я скажу браковщику, как вы велели, но ваши действия — незаконные и прямой грабеж.

— Что?!

— Я говорю, что ваши действия — незаконные и грабеж.

— Больно грамотный?!

— Читать и писать умею.

Поклонился и, не оглядываясь, ушел.

— Мерзавец! — Шорин зыркнул глазами на Моисеенко.

— У меня, Александр Иванович, станки заправляют.

— Мерзавцы! — рявкнул Шорин и помчался в свою конторку.

«Ах, вот он, Волков-то! — вспомнил Моисеенко Гаврилу Чирьева. — Не робкого десятка!»

Близилось рождество. Дети ждали подарков, взрослые — обнов.

И фабричное начальство тоже приготовило рабочим подарочек — срезанный ордер, по которому в харчевой лавке получишь шиш.

Ордера — это его фабрикантского величества деньги. На царские где хочешь купишь и чего хочешь, а по ордеру — изволь покупать в харчевой лавке, и то, что продадут. С деньгами и рабочий — вольный казак, хоть на день, да вольный, а с ордером — как на привязи.

Ради праздника приказчик харчевой лавки Иван Кузьмич Гаранин объявил, что рабочие слишком много должны, а потому товары и продовольствие нельзя им выдать.

Петр Анисимыч с Катей на рождество в Ликино ходили, к своим. Зимой день короткий, потому пошли утром, отобедали — и в Орехово.

Идут по Никольской, а улица — ходуном. В праздники Орехово всегда малость покачивает, а тут под каждым забором по двое, по трое. Возле пьяных — женщины. Поднимают родненьких, тащат.

У фонаря — детина: уперся в столб руками, раскачивает.

А на снегу — сын он ей, видно, — старушка на коленях, плачет, просит, крестится.

Оторопь взяла Анисимыча, а у Сазоновны глаза уже на мокром месте.

— Бесстыжие вы, мужики. Мучители проклятые!

Глядит Анисимыч, Матвей с Ефремом обнялись, бредут вслед за ногами.

— Стой, ребята!

— Анисимыч, здорово! Гуляем!

— С чего гуляете-то?

— А куда ее, трешницу? — замахал руками Матвей. — На нее не оденешься, не обуешься, не прокормишься. Вот и порешили — пропить! Поддержи, Анисимыч! — Ефрем из-за пазухи бутылку достал. — Полбутылки — твое, полбутылки — наше. Нам уже хватит. Мы хоть на ногах, но хватит. Меру знаем.

— Недосуг мне, ребята!

Подхватил Анисимыч Сазоновну — и в казарму, а сам что кипящий паровой котел. Поставил Сазоновну перед иконой:

— Катерина, перед всеми святыми клянусь! Не забуду этого дня Тимофею Саввичу! Не прошу! Клянусь, поставлю и я его на колени за то, что он рабочего мордой в снег и грязь тычет!

II

Сразу после рождества, 28 декабря на фабрику приехал сам Тимофей Саввич. Веселый, крепкий, борода белая, а лицо без морщин, налитое, коричневое от южного солнца: в самом конце ноября из Крыма вернулся.

Расцеловал Михаила Ивановича Дианова, директора фабрики, пожал руки всем, кто стоял поближе, кто пришел к поезду.

— Перво-наперво ведите в школу. Мне Савва Тимофеевич хорошо о ней говорил.

— Может быть, с дороги отдохнете? — осторожно предложил Дианов.

— Нет! Нет! В школу!

Пока Тимофей Саввич здоровался с начальником железнодорожной станции, пока в санки усаживался, а Дианов уже мигнул. Уже помчались, нахлестывая лошадей, в школу. Чтоб, упаси бог, какого непорядка не случилось.

Каково же было удивление Морозова, когда, подъехав к

школе, он увидел на ступенях крыльца весь личный состав учеников и учителей, который, как только лошади встали, грянул «Славься! Славься!» из знаменитой оперы Глинки «Жизнь за царя».

Тимофей Саввич хотел было рассердиться, увидав, что в школе предупреждены о его визите, но после такого «Славься!», когда слезы от умиления сами покатались, как можно сердиться-то.

Тимофея Саввича повели в классы, показали прекрасные чертежи и рисунки, показали мастерские. Учащиеся встали за учебные станки и принялись весело и ловко делать то, чему научены. Потом они поднесли своему благодетелю действующий ткацкий станок, который умещался на ладони.

— А ведь и вправду ткет! — изумился Морозов. — Славно, господа! То славно, что на моей фабрике живет завет, данный нам издревле: мол, «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Хвалю за усердие, великое прилежание и мастерство... Учителям жалую половину оклада и 500 рублей на приобретение для школы пособий и прочего.

Ученики, бывшие в учебном классе, снова грянули «Славься!».

И Морозов покинул школу размягченный, хотя и несколько задумчивый, впрочем, задумчивость эта была приятной и для него и для устроителей спектакля.

Тимофей Саввич снова отказался от обеда, спросил только крепкого чая и сел разбирать в конторе дела. Финансовый итог года был уже и ранее известен, но теперь, на месте, просматривая столбцы цифр, Тимофей Саввич совершенно был утешен и на вопрос приказчика харчевой лавки Гаранина, как быть с должниками, нахмурился и сказал строго, как отец:

— Не ради пропойц, губящих не только душу свою, но и семью свою, а ради их детей и жен объявите, что Тимофей Саввич одну треть долга прощает — берет на себя.

Голова откинута, в лице серьезность и великая доброта. Дианов спохватывается. Он восхищен, и все тоже восхищены заботой большого человека о самом низшем классе, о людишках.

Михаил Иванович Дианов знает, что все это одна игра, что решение простить треть долга в харчевую лавку принято не

теперь, а две недели назад, в Москве, правлением «Товарищества», что мера эта вынужденная: рабочие не могут купить залежавшиеся на складах товары, сбыть которые можно только этим несчастным, а иначе выкидывай.

И чтобы поубавить в хозяине благотворительной спеси, Дианов предлагает ему решить весьма щекотливый, вполне, можно сказать, неприличный вопрос.

— Как нам быть, Тимофей Саввич, с теми рабочими,— спрашивает он,— на которых наложены штрафы в размере половины заработка? Думаю, что инспекция сразу же обратит на это внимание.

— Должен вам сообщить,— улыбается в ответ Морозов,— что институт фабричных инспекторов теперь не будет играть той роли, какую мнил себе. Отчеты им печатать уже запрещено. Но вопрос тем не менее вы поставили серьезный. Решить его надо. Рабочих, у которых штрафы весьма велики, я предлагаю уволить... и тотчас принять на работу заново.

— Стало быть, вы предлагаете поменять им расчетные книжки?

— Стало быть, предлагаю...

Тимофей Саввич захлопнул объемистый гроссбух.

Утром Морозов обходил свои владения корпус за корпусом. Когда об этом узнали на ткацкой, к Моисеенко прибежал Ефим:

— Анисимыч, дай твой товар! Он у тебя, как всегда, хорош. Я с ним к браковщику, он мне штраф запишет, а хозяин тут как тут!

Из-за спины Ефима выглядывал Матвей. Плоскогрудый ткач тоже рядом.

«Что ж, пускай еще раз удостоверятся в том, что и так ясно»,— решил Моисеенко и поменялся с Ефимом товаром.

Обрадованные ткачи побежали к браковщику. Все вышло, как задумали: браковщик повертел товар и записал штраф сорок копеек. За что — не сказал.

Тут как раз и появился Тимофей Саввич. Ефим — к нему, поклонился и товар протягивает. Тимофей Саввич взял товар, поглядел, улыбнулся:

— Хорошо сработано. Очень хорошо!

— Вот и я говорю,— засуетился Ефим,— а браковщик мне за этот товар сорок копеек штраф записал!

— Ну что ж,— легко откликнулся хозяин,— значит, знает, что можешь и лучше работать. Ты этот кусок вон как ловко сработал, а ты еще постарайся. Ведь небось можешь?

— Могу,— пролепетал Ефим.

— То-то! Ну, ступай трудись. Слышал объявление, что я простил треть долгов в харчевой лавке?

— Слышал.

— Ступай трудись. Хозяин вас не забудет, коли вы о его выгоде помнить будете. Хороший товар — хороший сбыт; стало быть, и рабочему прибыль. Мне лишних денег не надобно, все лишнее на вас и пойдет, на новые теплые казармы, на школу для ваших детей, на больницу.

— Хозяину, Тимофею Саввичу, благодетелю, ура! — крикнул стоящий за спинами рабочих Шорин.

— Ура! — завопил Ефим.

— «Ура», говоришь? — подтолкнул Ефима Моисеенко, когда хозяин проществовал в соседнее помещение.

— И сам не знаю, отчего крикнул! — почесал в затылке Ефим.

Все сгрудились вокруг Моисеенко.

— Чего стоите? — спросил он их.— Хозяин работать велел, стараться. Для того и штрафы пишут, чтоб старались.

Плоскогрудый ткач отодвинул Ефима и протянул Петру Анисимычу плоскую, как блин, руку:

— Я с тобой, Анисимыч.

— Зовут-то тебя как?

— Шелухин я. Солдат.

— Собраться нам надо, мужики. Обговорить что и как. Вроде бы ждать больше нечего.

— Нечего,— согласились ткачи.— Ты только скажи, когда собраться.

— Скажу.

III

Петр Анисимыч Моисеенко как пошабашил, перекинулся с Сазоновной словечком, попросил почистить его станки и пошел прямо с фабрики в Ликино, к Луке Иванову.

Лука жил на квартире у местного мешанина. Здесь же снимали углы и воспитанница Петра Анисимыча Танюша и брат его Григорий, а всего под крышей собралось тринадцать человек — терем-теремок.

Танюша Петру Анисимычу обрадовалась.

Побежала в честь дорогого гостя за ситником. Хозяйка корову пошла доить, хозяин еще с двумя постояльцами в церковь отправился, детишки — на печи. Очень все удобно вышло.

— Поговорить, Лука, надо,— сказал Петр Анисимыч, усаживаясь за стол, под иконы, чтоб дверь была на виду.

— Неужто все надеешься поднять на волка своих овец?

Петр Анисимыч нахмурился.

— Чего сердишься? Орехово — не Петербург. Там студенты помогали, революционеры, а мы с тобой и требований написать как следует не сумеем.

— Сумеем! Все сумеем, Лука! Твоя голова, моя смелость! Но я расшибу! — трахнул кулаками по столу, вскочил. — Разворочу!

Головки ребятишек вынырнули из-под занавески на печи: чего это дядька шумит?

Лука улыбался.

Петр Анисимыч сел на лавку, покосился на него зло.

— Ты все улыбаешься! А меня злость за глотку, как волк, держит. Намедни сам прибыли-с! Тимофей Саввич, его хапужское величество! Ефим, дурень, с моим товаром — а сработано отменно — подбегает и говорит: «Поглядите-с». Поглядел. «Очень хорошо»,— говорит. «А вот, мол, за это «хорошо» штраф браковщик записал». — «Ну что ж, отвечает, старайся. Наверно, можешь лучше сработать». Так-то. А ты, это самое, улыбочки свои... Да не будь я Петька, батьки Анисима сын, через неделю разворочу всю эту проклятую трясицу!

— Горячку не пори! — Лука встал, прошелся по избе. — Ты в герои-то не рвись! Герой — для бунта хорош, а стачка — борьба нервишек. И надо, чтоб они у хозяина лопнули.

— Ну, а кто ж еще-то? Если я первый слово не скажу, никто не скажет.

— Ищи, Петр, жоака. Я тебя не за спинами прятаться зову, но руководить. Сам же говоришь, без тебя дело не пойдет, а тебя схватят — все погибло.

Моисеенко ерошил обеими руками рыжеватую свою шевелюру.

— А ведь я, пожалуй, это самое, знаю жоака... Красивый парень, ткачихи за ним в огонь и в воду... С мастером он тут на моих глазах схлестнулся.

— Вот это другой разговор... А теперь надо подумать о требованиях.

Вернулась Танюша. Собрала ужин и сама села. Лука восторженно поглядел на Петра Анисимыча.

— Танюша — свой человек, — подмигнул воспитаннице Петр Анисимыч, — она умеет и слушать, и молчать тоже умеет.

— С требованиями, чтоб все грамотно было, в «Северный союз русских рабочих»¹ нужно обратиться, — продолжал Лука.

— Милый ты мой! — Петр Анисимыч даже в ладоши ударил. — Стачка не сегодня-завтра, а ты хочешь тайную переписку затеять. Да и через кого? Или мы не знаем, что надо от хозяина потребовать? Во-первых, чтоб прекратил безобразие со штрафами. Во-вторых, чтоб за день прогула вычитали определенную сумму денег, а не заработанное за три дня. У нас ведь как? Пять дней прогулял — пятнадцать работай бесплатно. И уволиться нельзя. Вот тебе, это самое, еще пункт: об увольнении.

— Что ж, основные требования ясны. Частности нужно на месте обговорить. На сходке. Полиции в Орехове много?

— Да нет... Конечно, как дело заварится, нагонят. Владимир не за горами... И давай сразу договоримся: если меня возьмут — все руководство берешь ты. Потому прошу тебя, приходи на сходку, чтоб ты своим человеком у нас был...

— Когда сходка? Где?

— Я еще не говорил с рабочими, но место высмотрел. «На песках» — в трактире клиентов всегда немного, и все наш брат, рабочие. — Прикинул. — Приходи на богоявление. И вот что: спрячь все письма, какие от товарищей из Сибири приходят.

Сердечко у Танюши колотилось: ах, как она любила своего дядю Петю. И как же ей было страшно за него. Ведь его за стачку в тюрьму посадят, а он не боится. И ведь никто ему не велит все это делать, о чем теперь он говорит с Лукой Ивановичем, и ведь не для себя все это он — ради людей. Людям будет лучше, а ему-то? Он-то за людей в тюрьме будет сидеть. И никак ему, никак не поможешь, не отведешь от него беду.

¹ Лука Иванов и Петр Моисеенко не знали о разгроме «Северного союза русских рабочих» в 1880 году.

...Бешено раскручивались шпули, летал челнок, бежали нити, и вот уже течет медленная река сотканной материи. Все как бы порознь, а слилось в единое. Стоп! Нитка оборвалась...

Как в жизни. У всякого существа и предмета своя скорость, всякое существо и предмет рождается, живет, иссякает. В движении всеобщем скрытый смысл. Все переходит в другое состояние, как вот эта слабая нить, которая через мгновение станет бязью.

Зернышко — в хлопок, хлопок — в нити, нити — в ткань, ткань станет рубахой, рубаха согреет человека. Зерно, сидя в земле, не осознает всех своих будущих превращений. Даже человеку невозможно охватить мыслью все эти превращения.

— Дядя Анисимыч! — Ваня перед ним, приютский. — Тебя на третий этаж зовут, в уборную...

— Сазоновну мою знаешь?

— Как не знать.

— Будь другом, позови. Нитки рвутся.

Пришла Катя.

— Погляди за машинами. В случае чего, Ваню пришли.

В уборной третьего этажа вокруг Волкова — целое собрание. Увидели Моисеенко — к нему.

— Анисимыч, чем твои станки заправлены?

— Бязь работаю.

— А мы целый месяц молескин, неладная его взяла бы! На кусок целых десять дней уходит, а цену положили один рубль двадцать пять копеек за кусок-то!

— Что же вы раньше думали?

— Расценок не было!

— Анисимыч, — сказал Волков, — ты обещал взяться за наше дело. Довольно с нас!

Лица у всех темные, злые. А злоба — первый враг забастовки.

Улыбнулся Анисимыч во весь широкий свой рот, так улыбнулся, что все увидели — шербатый он. Потому его Щербаком и звали за глаза.

— Скажу, что делать! Нужно получить зарплату пятого числа и взять в лавке харчей недели на две. На все деньги.

Шелухин, плоскогрудый ткач-великан, гневно взметнул руки-лопаты над головой.

— Чо ждять?! Чо ждять?! Получать-то чо?! Айда к Шорину!

Толкаясь, ткачи повалили за Шелухиным. Моисеенко прижался к стенке, пропуская всех, а Волкова ухватил за рукав и вытянул из толпы.

— Подожди.

Они были теперь с глазу на глаз.

— Это самое, то, что они пошли,— пустое дело... Таким хождением ничего не выходишь.

— Ну, если бы один пошел, а то все.

— Еще хуже будет... Ты, это самое, не горячись. Горячиться время не пришло. Как пошабашим, подходи ко мне, вместе из фабрики пойдем... Сам-то ты откуда?

— Из Серпухова, а так-то где только не работал... В Серпухове на фабриках у Карпова и Строкова был, потом — в Москве шорничал, жил в аптеке на Никольской. Квартиры не было. Намаешься. У Морозова, ничего не скажешь, жилье хорошее... Жена у меня ткачиха. Вот и перебрались.

— Ты вот что, как люди придут — утихомиривай. Случится бунт — все пропало... Бунт — стихия, а нам, это самое, нужно подумавши. Забастовка — кто кого, а нам надо, чтоб мы его, Морозова. Понял? Потому деньги надо получить. Так и говори. Получайте деньги, наберите харчей, тогда можно и работу бросить.

— Слышишь? — остановил Волков Анисимыча.

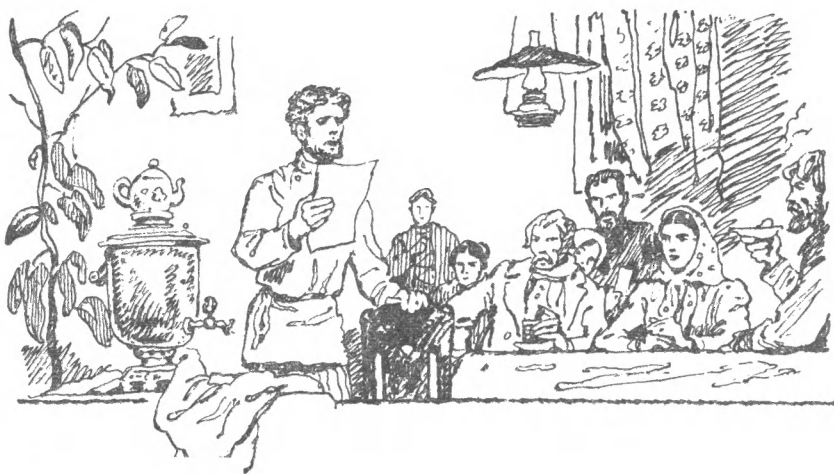
Со второго этажа возвращались от Шорина те, кто работал молескин.

— Что-то быстро они!

В уборную пришел один Шелухин, остальные разбежались по своим машинам.

— Рассчитали меня,— сказал Шелухин, дрожащими руками приглаживая желтые тощие косицы взмокших волос.— Я только заикнулся про молескин, а Шорин кулаком по столу и пальцем мне в грудь тычет: «Твоя фамилия Шелухин. Ты уволен». Наши так и брызнули из конторки.

— Ну, держись, Александр Иванович! — Моисеенко вдруг ловко, с присвистом, плюнул.— А ты, Шелухин, не дрейфь. Сейчас чем хуже, тем лучше. Себе они яму копают. Помни мое слово — себе!



«НА ПЕСКАХ»

I

Шятого января, перед крещением, получили деньги. В тот же день контора объявила, что седьмого, на Ивана Крестителя, будет рабочий день.

— Сама контора день указала! — шепнул Моисеенко Сазоновне.

Запустил станки, но за работой не глядел: о заработке ли думать? От станка к станку обходил своих людей.

— Как пошабашим, почистим станки, собираемся у фабрики и в какой-нибудь трактир пойдем, дело наше обсудить. Имейте при себе копеек десять на чай.

Хоть получка, а деньги не у всех. Жены тут как тут: не пропил бы, кормилец, последнее.

Ни минутки Анисимыч на месте постоять не мог спокойно — пришел час совершить дело жизни его. А в голове словно бы пустота, ни о чем всерьез подумать невозможно, мысли прыгают, тяжесть какая-то наваливается, томление духа и трепет.

Всех предупредил, а день не кончается. Покрутился возле Сазоновны, у станков своих покрутился, Ваню-приютского о чем-то поспрашивал. О чем — сам забыл.

Наконец все.

Пошли из фабрики. Волков его догнал. Вместе вышли. Собралось человек двадцать.

— Куда?

— «На пески»,— сказал Моисеенко.

Пошли «На пески», в трактир. А там Лачин и его троица. Сидят в разных углах как сычи. Хоть Лачина Петр Анисимыч не знал, но не понравились ему эти чужаки. Подошел Петр Анисимыч к трактирщику и сделал заказ, да так, чтоб все слышали:

— Две четверти водки! Или нет — четыре!

— Четвертями водку не продаем-с!

Это Петр Анисимыч и без трактирщика знал.

— Коли нет, ладно! Пошли, ребята, в другое место!

Увел своих в Зуево, в кабак Кофеева.

Кофеев косится на гостей: народу — толпа, а заказ скромный.

Поднял Петр Анисимыч стакан, а слова застряли. Это ведь как первое купание после долгой зимы. Все на него глядят, а он молчит. Тряхнул головой вдруг:

— Ну, это самое! Сами, братцы, знаете: как мы живем, лучше не жить. А потому мы должны взяться за дело и обновить работу. Просить от хозяина удовлетворения. За нас это никто делать не будет. Сами за себя должны постоять. Вы все ждете, пока манна с небес упадет, так те времена прошли, когда падала. Или думаете, бабы за дело возьмутся, а вы сложа руки сидеть будете? — Подумал: «Сто раз говорил эти слова, но ведь слушают».

Перехватил напряженный взгляд кабатчика.

— Прекратите! — сказал Кофеев. — Можете где угодно, только не у меня.

— Да мы... ничего! Мы... вот отдохнуть! — загудели рабочие.

— Уходите.

Тут Лачин в кабачок заглянул, а рабочие ему навстречу, и опять пошли «На пески». Взяли чаю.

— Мало нас,— сказал Волков.

— Мало,— согласился Моисеенко. — Чтоб такое дело поднять, нужно, чтобы все друг за дружку стояли. Тогда мы будем сила.

— Сила! — расвирипел Шелухин. — К Шорину все вместе шли, а как на расправу, так один я остался.

— Вот я и говорю: чтоб такое не повторилось, нужно сплотиться. Пусть каждый из вас придет завтра сам и приведет с собой своих друзей. Завтра день нерабочий. Давайте соберемся после обедни, часов в двенадцать. Здесь, в трактире. Согласны?

— Согласны.

— Да я десятерых с собой приведу! — буркнул Шелухин.

— Приводи! И чтоб обязательно с прядильной люди были. Работу бросить надо всем сразу... Завтра все обсудим, а я подготовлю требования относительно недовольства рабочих.

Прощаясь, все подходили к Моисеенко, пожимали ему руку.

— Ты на нас, Анисимыч, надейся. Не подведем.

— А я надеюсь.

Дома ждали гости. Брат Григорий, Лука Иванов и Танюша.

— Котелок поставлен на огонь, Лука, — сказал с порога Петр Анисимович. — Закипает.

Разделся, сел к столу.

— Бросил бы ты все это, — осторожно сказал Григорий. — Упекут ведь!

— Не упекут. Не за что! Мы не Чуркины, свое просим. — И, чтоб развеселить гостей, предложил: — Сочельник. Может, погадаем?

Никто не откликнулся.

— С дороги они, устали, — сказала Сазоновна, — давайте ложиться.

— Ложиться так ложиться. И вправду ложитесь, отдохните. А мы с Лукой маленько посидим. Дай нам, Катя, листок бумаги. Требования надо составить. Я на завтрашней сходке обещал прочитать.

«Он-то ладно! — подумала Танюша из своего уголка. — Сазоновна-то как спокойна».

II

Когда утром они, принаряженные для праздника, ввалились весело в трактир «На песках», там уже сидело человек пятьдесят своих.

— С праздником! — Моисеенко улыбнулся самой широкой своей улыбкой, показывая щербатый рот.

Трактирщик глядел подозрительно, и Петр Анисимыч, нарочито шумно усаживаясь со своей компанией за стол — а тут был и Лука, и Григорий, и Сазоновна с Танюшей, — широким движением руки позвал полового.

Народ подходил.

Набралось человек семьдесят.

Волков поднялся.

— Вопрос нам, братцы, один надо решить: как нам сделать, чтобы остановить фабрику, хотя бы одно ткацкое отделение? Я вам скажу, мы в Серпухове вот так же встали друг за дружку — и хозяин ничего поделывать с нами не смог. Уступил. Нам бы только взяться сообща, а там видно будет. Говорите, кто чего думает!

Поднялся Тимофей Яковлев, прядильщик.

— Самое лучшее — пораньше прийти к своим фабрикам, стоять у дверей и не пускать на работу.

— Чо там! — крикнул с места Шелухин. — Встать пораньше и забить двери гвоздями.

— Можно и войти в фабрику, — предложили другие. — Там, на месте, всем собраться — и на улицу.

Заспорили.

Моисеенко подтолкнул Луку:

— Давай ты.

Лука встал:

— Товарищи! У меня с собой воззвание к московским рабочим, но оно годится и для нас...

Прочитал потрепанную, затертую прокламацию.

— Видите, не одни мы страдаем. Где капитал, там и страдание рабочих людей. Избавиться от гнета нам поможет всеобщее объединение. Есть такая организация «Северный рабочий союз». Нам надо обратиться к товарищам, и они помогут нам в борьбе за лучшее будущее всех рабочих.

Встал Волков:

— Главное, не унывать! Веселей, ребята! Давайте стоять твердо.

Тотчас поднялся Моисеенко:

— Мы собрались не ради вина и чая. Мы собрались, это самое, чтоб напомнить друг другу: один за всех и все за одного! Без воли, без свободы мы ровня скотам. Вчера еще мне говорили: Морозов — колдун. С ним ничего не поделаешь. Неправда, все это брехня! На слово — слово, на силу — сила. Вот наш ответ. А силы нам не занимать. С избытком есть.

И верьте мне, топорами можно скорее справиться с врагом, чем бабьей болтовней. Так ли я говорю?

— Так! Верно! Чеши, Анисимыч!

— Вот и хорошо. Утром поднимайтесь пораньше. Все встанем у дверей и никого не пустим на фабрику.

— Верно!

— Вот что, братцы. Я, как обещал, принес черновик с нашими к хозяину требованиями. Читать?

— Читай!

Моисеенко достал листок бумаги.

— Значит, это самое... Первое: «Хозяин имеет право штрафовать рабочего в месяц только два раза; если же рабочий подвергнется третьему штрафу, то хозяин должен его рассчитать. В случае, если хозяин на это условие не согласится, то он должен простить старые штрафы, оставив себе из них пять процентов».— Моисеенко пункт за пунктом прочитал основные требования.

— Молодец, Анисимыч! Всё так.

— Ну, коли всё так — по домам. Языки на привязи, ребята, держите. Кому зря не болтать.

— Скажешь тоже — болтать!

Все поднялись, распрошались.

Волков пошел к Моисеенко. Пили чай, прикидывали, не было ли в трактире предателя.

— Забитый народ,— сомневался Лука,— боюсь, ничего завтра не выйдет.

— Брось ты! — петушился Анисимыч.— Не выйдет ему! Все выйдет. Не все забитые. А кто сробеет, как овец, выгоним из фабрики. Да и не будет робких. У нас, русских, всегда так: терпим, гнемся, а как волю почуем, так беда! И хватит, Лука, об этом. Давай лучше Волкову споем нашу.

— Какую?

— Про Стеньку,— и, разом покраснев от натуги, залился на всю казарму:

Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края,
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Волков восхищенно крутил головой:

— Ай да песня! Никогда не слышал.
Моисеенко обнял его и залился пуще:

Из людей лишь один на утесе том был,
Лишь один до вершины добрался,
И утес человека того не забыл
И с тех пор его именем звался.

В коридоре шумели. Моисеенко вышел. Толпились казарменные.

— Послушать пришли.

— Верно, хорошая песня. Ступайте и будьте готовы завтра за себя постоять, как Стенька умел стоять. Довольно, поработали на Морозова, пора и посчитаться.

Лука увел Анисимыча.

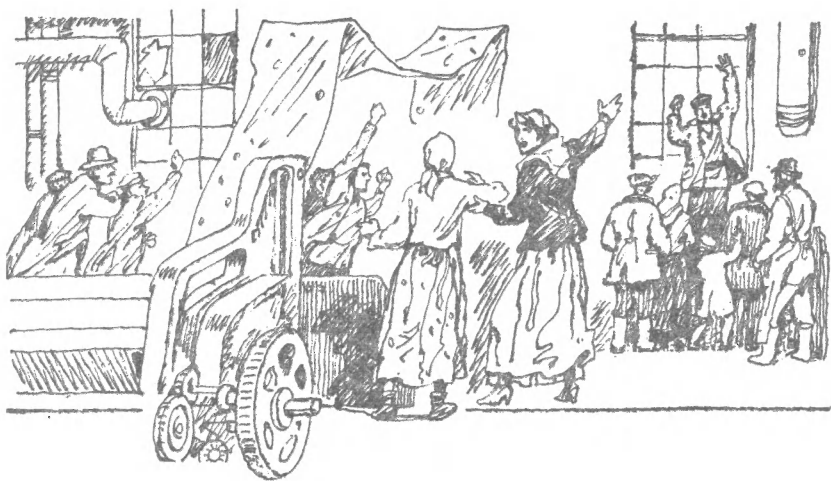
— Ты чего шумишь раньше времени? Сам приказывал язык за зубами держать.

— Нехай, Лука! Ничего уж Морозов не успеет против нас до утра сделать! В Москве сидит, небось шампанское жрет! Спать легли поздно.

— Сазоновна,— наказал Анисимыч,— как только колотушка пройдет, буди.

И заснул тотчас.

Сазоновна ерошила ему во сне колючие его брови и все думала и все ждала: вот-вот затрещит колотушкой хожалый.



НАШИХ БЬЮТ!

I

Деревянный шарик на веревочке щелкал по деревянному бруску — колотушка.

— Вставай, Петя!

Анисимыч вскочил, не открывая глаз, ощупью нашел на столе кружку с холодным вчерашним чаем. Все так же на ощупь, молча, побряхтывая, оделся.

— Лука спит?

— Спит.

— Ладно, не буди!

Накинул ватный зипун, шапочку с торчащим, как у бобика, ухом, надвинул по самые брови. Сладко потянулся в дверях, зевнул.

Сазоновна была уже готова.

— Ты погоди! Посиди дома. Придешь к смене. А я погляжу там...

Легонько нажал плечом на дверь.

Сазоновна подняла руку, чтобы благословить мужа крестом, а он уже по коридору: топ-топ-топ... Как ежик.

Только вышел из казармы, окликнули:

— Анисимыч!

Гаврила Чирьев.

— Ты чего?

— О вашей сходке Дианову сказали. Он приказал черно-рабочих к фабрикам поставить. Поберегись, Петр. Я пошел. Прости. Как бы не увидали.

Убежал.

То ли известие не обрадовало, то ли мороз за шиворот забрался, поежился Анисимыч, сдвинул шапку с левой брови на правую, поглядел туда-сюда: идут люди на фабрику. Пять часов утра.

«Ладно!» — сам себе сказал и, разгоняя кровь, засеменял к фабрике бочком, постукивая нога об ногу, похлопывая по бокам руками.

Близко к фабрике не подошел. В стороне встал.

В дверях — сторожа, у кого дубина, у кого ломик, а у некоторых оглобли.

Задерживаться рабочим не позволяют. Как кто встанет — срываются, как борзые, и сразу драться.

Возле корпуса прядильщиков метался Тимофей Яковлев.

— Стой, ребята! Праздник ведь!

— Праздник-то праздник, — отвечали ему согласно, мешкали, ругались, но все равно шли в свой прядильный корпус.

«Ладно», — сказал себе Моисеенко и подбежал ближе к дверям, чтоб его видели рабочие.

К нему тотчас стали подходить. Набралось человек десять.

— Стойте здесь, не ходите на фабрику!

Побежал к боковым дверям.

И тут его узнали, окружили, спрашивали, чего делать.

— А ничего не делать! Стойте сами и других не пускайте. Вернулся к главным дверям, а все уже разошлись, кинулся к боковым — и там никого.

Еще подошли, узнали, остановились, Волков появился:

— Ну чего, Анисимыч?

— А ничего! Спишь больно долго. Ступай к главным дверям.

Волков пошел, но скоро вернулся:

— Сторожа дубинами гоняют.

— Слышь, Анисимыч, — сказал кто-то из ткачей. — Мы, пожалуй, того, на фабрику пойдем... А то ведь, не ровен час,

запишут номер, и вместо одного — три дня оттрубишь. Ты не сердись. Ничего, видно, с нашим народом не поделаешь.

Понурились и пошли.

— Овцы! Истинные овцы! — Анисимыч сорвал шапку и бросил под ноги себе.

Волков поднял шапку, стряхнул с нее снег.

— Надень. Простудишься... Слышь, Анисимыч, забежим, что ли, ко мне. Ты небось и не завтракал?

— Да где уж было... Спешил!..

* * *

— Истинные овцы! — снова взъярился Моисеенко, обжигаясь кипятком, хрупая кусковой сахар.

— Не ругайся, Анисимыч. Вишь ведь, предатель сыскался... Сторожей нагнали. Я прикинул: у фабрики стоит человек двести.

— Их двести, а нас — восемь тыщ! — Моисеенко решительно запахнул зипунок. — Поглядим еще! Может, и вправду не бараны.

На фабрике прошли к станкам Анисимыча, они были уже раскрыты и пущены.

— Жена постаралась. Позовем наших — и на третий этаж, в уборную.

Собрались молчком.

— Мужиков с дубьем испугались? — накинулся Анисимыч на ткачей. — Или сил нет у нас, чтоб забор на колы растащить?

— Вот что, братцы! — крикнул Волков. — Ничего страшного, станки и теперь можно остановить.

— А потом чего?

— Морозов приедет, губернатор, жандармы. Подадим губернатору наши требования. Чтоб на виду, чтоб Морозов не отвертелся!

— Тихо! — крикнули стоявшие у дверей. — Младший мастер идет.

— Черт с ним! — Застучали в стенку женской уборной: — Бабы! Что делать думаете?

Заругались в ответ:

— Сами бабы! Вам только кнут покажи, сразу — шелковые.

— Марфа кричит,— сказал Волков.— Боевая — жуть. Она за собой всех уведет.

В уборную зашел младший мастер Прусаков.

— Почему не работаете? Если у вас праздник, так ступайте вон. А собираться запрещено.

— Ты, милый человек,— сказал из толпы Моисеенко,— катился бы отсюда! А то зашибем ненароком.

Все взбудоражены. И вправду зашибут.

Прусаков опустил глаза, постоял и, словно бы вспомнив что-то важное, быстро ушел.

— Ура! — гаркнули ткачи.— Домой!

К Моисеенко протиснулся Ваня-приютский.

— Дядя Анисимыч! Я знаю, как погасить газ.

— Я тоже знаю как, да ведь высоко, лестница нужна. А станем брать лестницу — увидят.

— Зачем лестницу? Нас трое. Мы друг дружке на плечи станем и закроем кран. Пусть только передние ряды завернут свои горелки, чтоб не так видно было.

— Бабы! — крикнул Моисеенко через стену.— Быстро заверните горелки в первых рядах.

Началось! Топот ног. Гаснут одна за другой горелки, помещение темнеет, словно пришли сумерки. Мальчишки полезли на плечи друг к другу под коренным краном газа. Ваня тянется к крану рукой. И пала на фабрику тьма...

Грохочут в темноте машины, словно поезд в тоннель нырнул. И разом тысячеголосый вопль:

— Выходи!

— Что делает-ии?!

— Выходи!

— Не трооонь!

Станки умолкали. Моисеенко бросился на второй этаж выпроваживать людей.

— Смелее! Смелее, ребятаки!

— Бабы, за мнооой! — Марфа за грудки схватила какого-то мужичонку.— Останавливай машину! Глаза выдерем!

— Да как же...

— Не побайвайсии! — И по шее мужичку-то, к дверям его. Со второго этажа Моисеенко скатился на первый.

Сторожа закрыли боковые двери, в главных — давка. Столкнулся с Волковым.

— С прядильного корпуса были двое, просят, чтоб к ним пришли и остановили работу.

— Что же вы стоите? Айда! Кто короткую дорогу знает? Ваня-приютский со своими мальчишками тут как тут:

— Мы знаем!

— Веди!

Прибежали в чесальную.

— А ну, ребятки, кончай работу! — закричал Анисимыч. — Ткачи уже все на улице.

Рядом объявилась Марфа. Высокая, руки длинные, косищи в две руки. Платок сбился, головой тряхнула, косы — двумя золотыми молниями.

— Кто хлипенький? Подходи, сопли утирать буду!

Засмеялись. Рванулись, как ребятишки, к выходу, толкаясь, наминая друг другу бока.

А Марфа уже ворвалась в прядильный корпус. Отодрала от машины иссохшую дрожашую прядильщицу.

— Чего ты прилипла к ней! Она же, машина твоя, как паук — всю кровь твою высосала. Ступай домой, в зеркало поглядишь.

«С такой не пропадешь!» Моисеенко вскочил на подоконник:

— Кончай работу! Все уже во дворе! Одни вы шуруете на благодетеля!

— Выходи! — крикнул прядильщик Яковлев с другого конца. — Никому не позволим нас предать!

— Верно! Один за всех — все за одного. Поошли!

Работа замирала, но как-то не очень уверенно. К Моисеенко подбежали мальчишки:

— Дядя Анисимыч, давай завернем газ!

— Пусть горит! Теперь не страшно. Выходят. Вон уже в дверях тесно. — Обнял Ваню. — Спасибо тебе, сынок! Спасибо, ребятки! Великое вы дело сделали.

На фабричном дворе, окруженный толпою рабочих, стоял пристав Пашка Васильев и прекрасным басом рокотал успокоительно:

— Ну, разбежитесь вы по домам. А зачем? Да вы и без того нищие.

— А то и победней нищих! — откликнулись.

— Ну вот! А я про что говорю? Не бросили бы работать. у вас был бы лишний рабочий день. Ваши же дети в ноги вам бы поклонились.

— Тебе бы на клиросе петь, а ты шашку прицепил! — крикнула Марфа из толпы женщин.

Тут прибежал Моисеенко:

— Чего холуя морозовского слушать? У него брюхо всегда в сыте! Идемте на старый двор, там нужно остановить работу.

Побежали. И вдруг — пронзительный женский крик.

Сторожа торопливо, по-волчьи озираясь, били женщину.

Увидели бегущих, пошли было на них, но толпа катилась огромная, неудержимая. Остановились.

— Не робей! — крикнул Моисеенко.

Рабочие торопливо разламывали забор. Двинулись было, но здоровенный детина вдруг выскочил из толпы сторожей, бешено раскрутил оглоблю. Пустил. Оглобля со свистом пронеслась над Моисеенко, сзади охнул кто-то.

«Неужто специально в меня метил?»

Но это так, мелькнуло.

Марфа с бабами подняла на вытянутых руках избитую: не лицо — черная лепешка.

— Мужики-и!

Как по сердцу ножом бабий вопль.

И разом толпа рабочих хлынула на толпу сторожей. Захрустели спины под палками. Завыли, теряя человеческое.

Гнали сторожей до конного двора. Моисеенко и сам не понимал, как в руках у него оказался мерзляк. Кинул. Зазвенело стекло. В доме торопливо гасили свет.

Да уже и светало.

Моисеенко снял шапку, сунул ее между коленями, обеими руками утирал взмокшие волосы, за ушами и верхнюю потливую губу.

Воинственный пыл уже сошел с него, и он понял вдруг, что произошло. Народ, который час тому назад праздновал труса, увидел палку, теперь сам поднял палку и, сам себе не веря, увидал, что его боятся, от него бегут, что победа легка: надо только налетать скопом, разом.

— Мужики! Мужики! — крикнул Моисеенко. — Довольно зайцев ловить, дело есть. Идемте в красилку. Там работают.

Но красилка уже не работала. Здесь Моисеенко поджидал Волков.

— Кое-как вытолкнули бестолочей. Все, Анисимыч! Фабрики Тимофея Саввича стоят. Все.

— Поглядеть надо, не спасовал ли кто? Встретимся в Зуеве, в погребке у Терентича.

Тут прибежали с ткацкой:

— Наших бьют!

Возле фабрики свалка. Сторожа и чернорабочие пустили в ход ломики, кирки, железные прутья.

Ухнули на свору лавиной. Погнали к реке, на лед. Сбивали с ног, выхватывали злодейское железное оружие.

У Моисеенко был красный большой платок. Проткнул в двух местах, натянул на острый лом. Поднял, грозя стоящим внизу. Толпа над рекой росла.

Чернорабочие и сторожа сбились на льду в кучу и сверху были похожи на пчелиный рой. Рой зашевелился, от него стали отскакивать по одиночке и кучками. И вдруг все там кинулись бежать в разные стороны.

— Наших бьют! — из-за спины крик.

Кинулись на чугунок, но здесь уже никого.

Моисеенко сел на рельсы, переводя дух, и тут к нему подошла Сазоновна:

— Господи, что с тобой?

— А чего мне? Устал бегать.

— Всюду драки. Говорят, дом Шорина разоряют.

— Скверно. Пошли, Волкова найдем. Надо унимать людей.

II

Волкову сдавило грудь, да так — ложись и помирай. Сплоховали больные легкие. Незаметно отстал от своих ткачей, которые теперь спешили к Главной конторе, добраться до проклятых бумаг. Крючоктворы Морозова работягу бумажными цепями приковывают к машине. У листа бумаги ни веса, ни запаха, а сделай по-своему, не по-писанному — в бараний рог согнет.

Волков бочком, обливаясь липким потом, вдоль забора Бумагопрядильной вышел на берег Клязьмы.

Снежные утесы, безмятежно розовые, вздымались по берегам околдованной реки. За рекою барином — сосновый бор; барин, угождая зиме, зеленый мех шубы прячет в густом инее. Зима — хозяин на земле, но в небе — красное от гнева, косматое солнце. Ему не одолеть сегодня стужи, да все, у кого глаза, кто затаился в норках, под корнями, под сугробами, видят его, любят и ждут в силе.

Заглядевшись на солнце, Волков сам не заметил, как пере-

дохнул. Воздух проколол легкие, но стихла тупая боль застарелой хвори.

— Эй, дяденька!

Волков обернулся: девочка незнакомая, с кружкой, в кружке дымится кипяченое молоко.

— Нат-ко, выпей! Мама велела, чтоб ты выпил.

Волков послушно принял кружку из красных ручек девочки.

— Ты что без варешек?

— Выпей скорей, я и побегу.

Волков пил маленькими быстрыми глотками.

— Благодарствую.

Девочка схватила кружку и пустилась бегом в казарму, прижимая локтями с чужого плеча зипунок.

Окон в казарме, как семечек в арбузе, кто-то подсмотрел его немочь.

— Ладно! Недосуг загибаться!

Побежал было к Главной конторе, но его осенило:

«Под флаг нужно людей собрать — вот что! А то такой тарарам идет».

Над Ореховом не умолкала звень вдрызг разбиваемых стекол. В казарме в дверях стояли, слушали, что творится, дети, женщины, старухи.

— Василий Сергеевич, отец наш родной! — всплеснула руками крошечная, усохшая до семилетней девочки, бабушка. — Чего тебе? Занедужилось, что ли?

— Всё хорошо, милые! — весело улыбнулся Волков. — Мне бы кусок красного матерьялу! С флагом пойду народ вокруг себя собирать. А то ведь иные безобразничают.

— Поди к ним! Поди! — Крошечная бабушка перекрестила Волкова.

— Довели людей до того, что и конец света в радость, — выкрикнула молодая женщина с дитем на руках. — Кто ж им виноват, хозяевам-то?

— Верно, верно! — соглашалась старушка. — А ты, Василий Сергеевич, все ж поди к ним. Головы-то пусть не теряют.

Мальчишки притащили кусок красного сатина, молоток, гвозди. Шест нашли, тут же обернули материей, прибили.

— Спасибо вам всем! Пошел я! — Волков принял самодельное знамя. Окруженный толпой казарменных мальчишек, побежал к Главной конторе.

А там — все окна навывлет, бумаги в воздухе, как голуби, стулья разломанные из окон летят.

Увидели бунтовщики красный флаг, стали подходить к Волкову.

Тот поднял уцелевший стул, встал на него, держа флаг на отлете.

— Люди! Братья мои рабочие! Не забывайте! Хоть разгромленного теперь не поправишь... Помните, вы — рабочие! Вы серьезные люди, а не разбойники какие. То, что мы здесь разбили в гневе на измывателей наших, — не умное дело. Не правильное. А вот то, что мы работу оставили, — это дело правильное. Мы, когда спросят нас, почему такое учинили, прятаться не будем. Не виноваты мы в том, что работа стала нам каторгой. Не больно-то мы разжились на работе у Морозова. Жиру не наели. Разуты, раздеты, голодны. Вот награда Морозова за наш честный труд. Нам, братцы, здорово попадет. Сюда и солдат, и казаков пришлют. Что ж! Пускай мы будем в ответе, но другие будут за нас бога молить!

Толпа сокрушенно вздыхала:

— Дай-то бог! Дай-то бог!

Под красным флагом шли до казарм за чугунок. От возбуждения, от быстрой ходьбы Волков взмок. Мороз, а у него с висков по белому, как полотно, лицу — пот ручьями.

— Поди-ка ты домой, переоденься! — сказал ему Шелухин. — Застынешь если — в неделю сгоришь.

— Васька, ты здоровьишком не выхваляйся! Ты нам здоровый нужен! — насели на Волкова рабочие.

Свернул флаг, пошел в казарму.

Жены дома не было. Переоделся. Хотел чаю выпить, да времени нет — в условленное место пора идти, спросить у Моисеенко, что дальше делать.

* * *

Волков ждал Моисеенко в погребке.

— Сядь, Анисимыч, отдохни.

— Рано праздновать! Дом Шорина, говорят, разносят.

— Ну и черт с ним!

Толпой ввалились в кабачок поммастера.

— Молодцы, ребята! Мы за вас!

Моисеенко уже на ногах, зипунок запахнут, шапка на бровях.

— Народ крепко рассердился. Надо унимать. До грабежей как бы не дошло.

Пошли к главной конторе. А там уже звон стекла, крики. Из пекарни хлеб через выбитые стекла выкидывают, бумаги по всему двору раскиданы.

Волков кинулся в самую гущу:

— Остановитесь! Мы труженики. Мы не разбойники!

Моисеенко рядом:

— Назад! Не надо нам чужого! Нам свое надо вернуть.

Рабочие отнимали хлеб у грабителей, валили назад, в хлебную.

— Где же администрация? — метался Моисеенко. — Попрятались, сволочи. К Дианову!

Ворота огромного каменного дома директора Никольской мануфактуры были заперты.

Легонький Моисеенко раз-два и забрался на забор.

На крыльце прислуга Дианова, как клуша, руками загораживает одетых, напуганных младших детей директора. Увидела на заборе человека, закричала, словно нож увидела:

— Не тронь!

— Чего орешь? — негромко, сердито спросил Моисеенко. — Дома директор?

— Нету! С утра к хозяину уехал.

— Ну, нет, и дела нет! Черт с ним! Если ему на хозяйское добро начать, а нам и подавно!

Спрыгнул с забора, пошел с народом по Английской улице.

На Английской улице, в высоких двухэтажных домах, в огромных квартирах проживали инженеры и начальство. Заведующий ткацкой фабрикой мастер Шорин занимал целый дом, и дом этот был похож теперь на руину. В верхнем этаже все стекла навывлет. В нижнем не только стекла, но и рамы были разворочены.

Мальчишки, стоящие перед домом, кусками торфа кидались в форточку верхнего этажа, только в этой форточке и уцелело еще стекло.

Моисеенко забежал в дом. Ни одной вещи здесь не было неразбитой или непомятой. Вся мебель вдребезги, картины все разорваны, пол засыпан пухом из растерзанных подушек и пуховиков, сундуки нараспашку, крышки содраны с петель.

«Сильна же ты, ненависть! — Моисеенко глядел заворуженно на этот истерический разгром. — Ведь и не взяли ничего, но ничего и не оставили хозяину. Попадись сам Шорин, разорвали бы».

У дома Лотарева, директора прядильной, встретил Волкова. Волков с рабочими отгонял погромщиков.

— Ты унимай,— сказал Моисеенко,— а я пойду телеграмму губернатору пошлю. Надо, чтоб от нас, от рабочих, просьба о помощи пришла. Морозова надо опередить.

Прибежал на вокзал, а в телеграфной урядник. Подошел к служащему:

— Узнайте, пожалуйста, нельзя ли губернатору телеграмму дать от рабочих?

Служащий пошел спросить. Скоро вернулся.

— Нельзя! Попробуйте дать телеграмму в Дрезне или в Покрове.

Шли по Никольской улице. Навстречу бежал Ваня-приютский с чернявеньким и с третьим своим товарищем. Ребята где-то раздобыли ухват, на ухвате, как знамя, бордовая, плотного материала штора. Увидали Петра Анисимыча, крикнули «Ура!».

— Откуда у вас? — показал на штору.

— Из дома Шорина. В его доме все как есть разбили и разорвали. А мы штору вот схватили. Наш флаг. Красный, рабочий. Правильно?

— Рабочие чужого не берут.

— Так все равно бы разорвали,— сказал чернявенький.

— Мы же не себе! — возмутился Ваня.— Мы для всех.

— Вы скажите лучше, Волкова не видели?

— Видели. Когда общественную лавку грабили, он там был, воров отгонял.

— Час от часу не легче!

Моисеенко побежал к магазину общества потребителей. Окна высажены, толпа народа стоит.

— Что тут?

— Человека убили.

— Как так убили?

— Да не совсем... Они начали ставни ломать, окна. Этот полез — ему оттуда дали по башке и здесь еще добавили. Большая драка была.

— Неужто наши грабили?

— Упаси бог! Ты уж, Анисимыч, не грехи! — зашумели в толпе.— Это не рабочие — босяки ореховские да из соседней

деревни Войнова прискакали. Аж на подводах. Поживиться хотели. Спасибо Волкову, собрал народ. Отбил лавку.

— А где зашибленный?

— Да вот он.

Толпа расступилась, и Моисеенко увидел: у стены на снегу лежит человек. Голова в крови, одна рука на отлете, сломана.

Человек дышал.

— В больницу его надо. А ну, берись.

Подняли, но человек страшно застонал.

— Ноги у него перебиты.

Снова положили на снег. Петр Анисимыч подбежал к сторожевой будке, выхватил рогожку. Раненого положили на рогожку, понесли в больницу.

Фельдшер, сонный человек с толстыми веками, не разлепляя глаз по важности своей и по лености, уронил со слюнявых толстых губ одно только слово:

— Расписку.

— Какую тебе расписку? Человек при смерти.

— Расписку или уносите.

— Ах ты гадина! — гаркнул Моисеенко. — А ну принимай и лечи. Не то выволоку тебя отсюда и отделаю, как надо.

Веки у фельдшера вдруг взлетели, как бабочки с капусты, и на рабочих глянули выпученные синие преданные глаза.

— Да мы... не поняли-с. Мы его сразу... Подлечим-с... Семен! Васька!

Прибежали санитары. Унесли раненого.

— Так я пошел лечить-с, — доложил фельдшер, удаляясь важно, но торопливо.

III

Синие пронзительные сумерки, как ядовитые цветы, лезли из лоснящихся сугробов. И это были такие цветочки, которых не сорвешь.

Хоть в животе болезненно урчало, ноги подгибались — одиннадцать часов носят с одного конца Орехова на другой, — и хоть впору было бухнуться в снег и глаза закрыть, Петр Анисимыч приказал-таки себе сбегать еще на станцию.

На станции толпился народ, все больше чистые, мешане, — ожидали прибытия войска. В толпе говорили, что едет губернатор с полком, что губернатор стесняться не будет,

живо уймет голодранцев. А «голодранцы», шнырявшие в толпе, покрывали эти разговорчики зловещим разбойным свистом.

«Как бы не разодрались», — подумал Петр Анисимыч, но у него были дела куда более важные, а потому, чтоб совсем не встать, как встает выбившаяся из сил лошадь, затрусил домой.

В каморку вошел, дверь за собой затворил и сел у порожка, в зипуне, в шапке, в валенках.

— Петя! — кинулась к нему Сазоновна, стащила шапку.

А он улыбается. Сидит и улыбается во все свои щербины.

— Ох, Катя! Уморился, страсть! Да ничего со мной... Вот посижу.

— Черти! Эко загоняли мужика!

— Сам я себя, Катя, загонял... Собери поесть. Посижу вот и поем.

— Я водички принесу горячей, ноги попаришь.

— Ага! Ноги прямо уж не идут, хоть руками переставляй, а мне еще сегодня топать и топать... В Ликино пойду ночевать, войско ждут чистые-то.

— Я скоренько! — испуганно встрепелась Сазоновна.

Он парил ноги, не снимая зипуна. Отошел маленько, разделся, умылся. Сел к столу. Поел щей, стал картошку от мундиров чистить. В коридоре шум. Пришли ото всех морозовских казарм спросить Анисимыча, как дальше быть.

С картофелиной в руках и вышел. Горячая. С руки на руку перекидывает.

— Вот что, братцы! Уже и сегодня мещане войско ждут. Не сегодня если, так завтра обязательно пригонят или солдат, или казаков. И тут нам надо ухо остро держать. Тут, это самое, промахнуться нам нельзя. И вот вам мой наказ, а вы ступайте по казармам и чтоб все наказ мой слушали ухом, а не брюхом... Надо сидеть смирно и никуда не выходить. Пресекайте всякое безобразие, чтоб себе на беду не дожидаться от жандармов и казаков насилия. Молодежь пусть зря не болтается. Неслухов всем народом будем наказывать. Так и скажите. И все, братцы, будет хорошо. По-нашему будет, может, первый раз в жизни. То, что фабрики стоят, и нам убыток, и хозяину. Да ведь не наша вина, что работу мы бросили. Наш убыток — горькие копейки, а хозяин многих тысяч недосчитается. Пусть у него и болит голова.

Поклонился людям Анисимыч, они в ответ загалдели благодарственно:

— Спасибо за науку.

— Бог тебе в помощь.

— Ты, Анисимыч, от жандармов-то схоронись. Без тебя-то мы как овцы.

— Э, неет! — засмеялся Анисимыч, помахивая остывшей картофелиной. — Я, каюсь, тоже овцами вас назвал, когда, это самое, все на фабрику пошли, а когда сообща сторожей гоняли да грабителей, вы были как истинные борцы.

Зайдя в каморку, Петр Анисимыч положил на стол так и не очищенную картошку и ничком бросился на кровать.

— Не ругайся, Сазоновна! Я всего-то на минутку — и пойду. Шубу мне достань и деньжонок.

Сазоновна принесла шубу и восемь рублей — весь их капитал. Петр Анисимыч деньги поделил поровну.

— Все, все возьми! Как знать, где тебе мыкаться придется! — заметалась Сазоновна.

Подумал, кивнул, взял шесть рублей.

Поцеловал Сазоновну.

— Луку не видно было? Домой, знать, ушел. Оно и к лучшему. Я завтра в Ликине отсижусь, а его пришлю. Его не знают. Кто бы меня ни спрашивал, говори — в Москве.

— Ах, Петя! — прижалась к нему Сазоновна, но не плакала. Знала, что от слез лихо ему.

Постояли обнявшись, поглядели в глаза друг другу, улыбнулись. А какие там улыбочки — сердца воют: сколько их, гончих-то, наострились за Анисимычем, одному губернатору известно.

...Самый длинный день в жизни Петра Анисимыча Моисеенко на том расставании с женой не закончился. Остановить фабрики Тимофея Саввича — полдела, дело — когда встанут все фабрики и в Орехове, и в Зуеве, чтоб ни один рабочий от общего дела не отстал — ни ткачи Викулы, ни ткачи Зимина.

В казарме Викулы Моисеенко ждали.

— Хотите, чтоб хозяева смотрели на вас, как на людей, примыкайте к стачке. Вашего терпения да молчания Викула не оценит.

Казарменные соглашались, но вздыхали.

— Уж больно много у нас старообрядцев на фабрике. Эти бунтовать не станут...

— Остановите завтра свои станки. А там видно будет... Старообрядцам за их старообрядчество хозяин не платит.

— Это верно.

Поздно ночью ушел Петр Анисимыч из Орехова. По дороге в Ликино нагнала его подвода. Возница за двадцать копеек согласился подвезти. Ехал он из Покрова.

— Все начальство в Орехово направляется. Говорят, большой бунт. Верно?

— Что посеешь, то и пожнешь,— откликнулся ездок.— Морозов последнюю копейку готов был у своих рабочих оттягать, вот его и наказали на целый рубль.

— Ох, царица небесная, матушка! — перекрестился возница.— Непокойные, видать, времена наступают.

И стал молитвы бубнить. Анисимыч и соснул под сенью святых словес, под успокоительный скрип схваченного морозом снега.

— Проклятая баба! — Лачин уморился стучать, а провидица дверей не открывала.

Домишко ей Лачин купил — на хозяйские, конечно,— в Зуеве, у леса, и сам же к ней постояльцем напросился. Провидица концом света грозилась, а о грешном брюшке своем никогда не забывала. Самые богатенькие дамочки прибегали к ней под вуальками. Кому про дочкиных женихов нужно погадать, а кому про собственных ухажеров.

Лачин поставлял клиентуру, потому ни за постель, ни за стол не платил, да еще пользовался кое-каким кредитом.

И вот все рушилось. Бунт — это много полиции. Это суд. Не дай бог, в свидетели попадешь. С полицией у Лачина отношения были сложные. Да и сегодня господин бывший поручик не промахнулся. Пока рабочие громили контору и дома ненавистных управляющих, он успел пошуровать в сейфах, и не без пользы. Деньги положил в кальсоны, самое надежное место, не всякий полицейский, обыскивая, сообразит.

Лачин в ярости загрохотал в дверь ногой.

Святки! Стоишь под луной на виду, как голенький. Мороз. Стук слышать на весь посад.

Наконец шаги в сенцах, проскрежетала задвижка.

— Ты что, спишь? — накинулся Лачин.

— Тихо,— сказала пророчица, выглядывая на улицу.— Один?

— Один. А кто дома?

— Шорин у нас прячется. В подполье все его семейство, как ты застучал, спроводила.

— Нелегкая принесла! Черт с ними, пускай сидят.

Заскочил в дом, сунул в саквояж фрак, пару рубашек, вытащил из кармана револьвер, проверил.

— Уходишь, что ли? — удивилась провидица.

Лачин окинул комнату взглядом. В красном углу футляр с киями. Поколебался. Взял.

— А должок? — спросила провидица.

— Матушка ты моя, в такое время о деньгах вспомнила. Вон шубу мою продашь, вещички... Может, и мою судьбу на прощанье предскажешь?

— Нет, — сказала пророчица, — твоя душа, как сточная канавка, липко и грязно.

— Дура! — гаркнул Лачин. Так хлопнул дверью, что на столе повалилась на бочок длинногорлая цветочница.



«КАКИЕ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЕЩЕ?»

I

С поезда, не здороваясь ни с кем, — шуба распахнута, борода сбита к правому плечу, всю дорогу, видать, терзал, — пробежал Тимофей Саввич к лошадям. Бухнулся в возок:

— Гони!

Доскакал до Главной конторы. Все окна разбиты, бумаги разбросаны, в окнах лавок тоже ни одного стекла.

— К Дианову!

У Дианова дом почти не тронут, всего два стекла выбито. Здесь теперь была резиденция владимирского губернатора Судиенко. Все приезжее начальство было в сборе: и сам губернатор, и жандармские полковники Фоминцын и Кобордо, и прокурор Владимирского окружного суда Товарков, и покровское уездное начальство, и директор фабрики Дианов.

— Здравствуйте, господа! — «Добрый день» сказать язык не поворачивается. — Отчего, почему все это?

Тимофей Саввич стоял в шубе, с шапкой в руках. Он был бледен, но в глазах его сидел яростный, очень злой зверь.

Губернатор, человек с образованием и взглядами, унаследованными от прежнего государя, которому служил с охотой, вкладывая сердце в службу, а потому втайне недовольный крутыми нынешними временами, весьма рассердился на вопрос, сделанный Морозовым, и, дабы осадить ретивого фабриканта, ответил сухо, поджимая губы:

— Господин Морозов, случай, как видите, прискорбный, я здесь затем, чтобы выяснить причины, побудившие ваших рабочих бунтовать.

— Причины? — изумился Тимофей Саввич. Одним движением он бросил на руки подросшего слуги шубу, тотчас кинулся в свободное кресло и оттуда уже швырнул слуге забытую в руках шапку. — Я вижу, вы уже отыскиали причину! Только позвольте заметить вам, господа, на мою фабрику стекаются люди со всех российских губерний, со всех фабрик и отовсех фабрикантов — ко мне идут!

— Вы нас застали всех вместе потому, Тимофей Саввич, — смягчился губернатор, — что мы только что принимали депутацию, так сказать. Я сам позвал к себе рабочих, чтобы узнать, чего они желают.

— Они смеют желать?! — закричал страшно Тимофей Саввич, и бледное лицо его покрылось фиолетовыми пятнами.

— Ваши рабочие не умеют точно определить своих требований, но об одном они говорят твердо: замучены штрафами, не на что не только жить, в широком смысле этого слова, но прокормиться невозможно.

— Сволочи они! — Тимофей Саввич закрыл лицо руками, и плечи его затряслись.

— Воды, — тихо попросил губернатор, но Тимофей Саввич отнял руки от лица, и все увидали, что он смеется.

Он смеялся, показывая крепкие, кругленькие, как кедровые орехи, губы.

— Значит, у Морозова Тимофея жизнь никуда... А что у соседей моих? У Викулы, у Зимина?

— Рабочие фабрик Викулы Морозова и Зимина сегодня все вышли на работу, — ответил Фоминцын. — Правления этих фабрик с утра объявили о повышении заработной платы на десять процентов. Штрафы, взимавшиеся с первого октября, рабочим возвращены.

— Испугались!

— Тимофей Саввич, — вновь заговорил губернатор, — ваши соседи поступили благоразумно. Если бы не эти уступки, сего-

дня все Орехово и все Зуево были бы охвачены безумством бунта. Пришлось бы дивизию сюда перебрасывать.

— Ваших двух батальонов мало! — быстро сказал Морозов. — Я телеграфировал в Петербург и просил подкреплений.

— Когда подкрепления понадобятся, я попрошу их сам, господин Морозов.

Наступила тягостная пауза. Все смотрели на Морозова, а он как-то очень странно улыбался, скорее даже скалил зубы.

— Господа! У меня лучшие по всей империи казармы, у меня больница, школа, баня, библиотека. Все лучшее! Господа, их же надо кнутом! Михаил Иванович, — обратился к Дианову, — каковы наши убытки?

— Одних стекол набили тысячи на три. Испорчены многие машины и станки, порваны и порезаны ремни-проводники, разбиты квартиры, лавки. Боюсь, что убытков будет не менее чем тысяч на триста — триста пятьдесят.

— Кнута им! Почему не арестованы зачинщики? Они набрались наглости явиться сюда, и эта наглость осталась безнаказанной!

Жандармский полковник Фоминцын, слишком явно беря сторону губернатора, вспылил:

— Если бы не эти зачинщики, как вы изволили выразиться, все лавки были бы разграблены и поломано было бы не десяток машин, а все машины.

— Как вас понимать, полковник?

— Мои люди уже вчера сообщили, что руководители стачки, а таковые действительно имеются, всячески удерживали рабочих от грабежей и бесчинств. Кнутом дела поправить невозможно, господин Морозов. «Товарищество» мануфактуры должно пойти на уступки...

— Никогда!

— ...И тем успокоить народ.

— Никаких уступок не будет. Я для них — кормилец. Что они без меня? Куда они теперь подадутся, когда повсюду рабочую неделю сокращают до четырех дней.

— Тимофей Саввич, — мягко улыбнулся губернатор, — я понимаю вашу обиду, но судебная машина уже пущена в ход, о стачке сообщено министру внутренних дел.

— Я сам обращался к министру. Я сам! Я просил войск, казаков. Я послал дюжину телеграмм.

— С двумя батальонами и двумя сотнями казаков я вчера был на месте, — нахмурился губернатор, — и уже вчера было

установлено: штрафы на ваших фабриках непомерно высоки.

— «Штрафы»! Да, штрафы! Мне нужен товар. Марка!

— Тимофей Саввич, мы доподлинно знаем: штрафы на ваших фабриках достигали иногда половины заработной платы... А это, как вы сами понимаете...

— Хорошо, господа.— Морозов встал, усталым движением левой руки как бы разгладил лицо.— Лишь ради того, чтобы прекратить все это безобразие, я готов вернуть штрафы, взимаемые с первого октября 1884 года, но все рабочие со дня забастовки будут рассчитаны. Только после такого расчета будет объявлен новый прием на фабрики «Товарищества».

В разговор снова вступил полковник Фоминцын:

— Тимофей Саввич, рабочие возбуждены. Они требуют уплаты за теперешний вынужденный простой, ибо считают одного вас виновным в стачке.

Морозов воспринял эти слова как оскорбление. Он не ответил полковнику, но повернулся всем тяжелым корпусом к губернатору.

— Ваше превосходительство, я, с вашего разрешения, хотел бы переговорить со своей администрацией.

Не дожидаясь ответа, поклонился и пошел из зала, и следом за ним — Дианов. Хватка у Морозова была. Уже через час во всех казармах и на заборах вывешивали распоряжение конторы:

Объявляется всем рабочим ткацкой и прядильной фабрик и плисорезам, что те взыски, которые сделаны с них за плохие работы с 1 октября 84 по 1 января 85 гг., им возвращаются и при всем том им делается расчет. Затем желающие поступить на работу могут быть вновь приняты на тех же условиях, которые были объявлены при найме 1 октября 1884 года.

Для разговора с хозяином приглашалось по десяти человек от казармы.

Через два часа красильщики вышли на работу. Выйти-то вышли, да не дошли до корпуса.

Первыми узнали о предательстве женщины. И конечно, примчались к Марфе. Марфа платок на плечи, ноги в валенки, скалку в руки — и на улицу, наперерез.

— Ну, ты! — замахнулся на Марфу рыжебородый плотный красильщик.— Посторонись.

Марфа, ни слова не говоря, звезданула мужика скалкою промеж глаз. Мужик так и рухнул.

— Лули их! — загалдели красильщики нестройно, потому как с бабами драться — один стыд.

Завизжала Марфина ватага и кинулась на передних мужичков, валя в снег, царапая и таская за волосы. Красильщики разъярились, раскидали женщин, добежали до корпуса, но тут подоспел Шелухин с мужиками девятой казармы. У всех колы. Кости затрещали. Зазвенели выбитые стекла.

Примчались две сотни казаков, оттеснили ткачей, а у них тоже в силе прибавка. Волков привел восьмую казарму и казарму холостяков. У Волкова красный флаг. Толпа растет, и как знать, чем бы обернулось дело, но от губернатора примчался на рыжем коне полковник Кобордо:

— Губернатор воспрещает работы!

Красильщики, побитые, понурые, под охраной казаков, прошли через раздавшуюся толпу, как сквозь строй.

Кобордо мигнул есаулу, бровью поведя в сторону Волкова, стоящего с флагом, казаки двинулись было в толпу, но толпа тотчас ошетичилась кольями, а губернатор строго-настрого предупредил: крови быть не должно.

* * *

В Петербург одна за другой летели шифрованные телеграммы. «Издавна правлением «Товарищества» практикуются крайне высокие взыски и штрафы с рабочих. С целью этим способом понизить зательную плату. Вычеты эти составляют в среднем до 30% с заработанного рубля».

Так докладывали жандармы.

«Озлобление рабочих отчасти справедливо. Поводом к при-
скорбным событиям, начавшимся 7 января, послужило то
крайнее угнетение, которому подвергаются рабочие, поступаю-
щие на эту фабрику... Правление на уступки не идет и облег-
чения рабочим делать не желает...»

Так докладывал о стачке губернатор.

К государю на доклад в одно время прибыли сразу два ми-
нистра: министр внутренних дел граф Толстой и министр ино-
странных дел Гирс.

— У меня дело, не терпящее отлагательств,— бунт рабо-
чих.— Толстой шагнул к двери, ведущей в кабинет государя.
Но мягкий Гирс не уступил:

— У меня, граф, тем более. У меня — война.

Английский генерал Лэмсден в Пенджабе спровоцировал

афганцев начать военные действия против русского отряда генерала Комарова. Отряд далеко оторвался от своих тылов и в военном отношении был слаб.

Премьер-министр Англии Гладстон настоятельно требовал от русского правительства, чтобы оно отозвало Комарова. Слова на русских не подействовали, и премьер-министр, убедив парламент, получил на ведение будущей войны с Россией 110 миллионов фунтов стерлингов, мобилизовал флот и двинул войска в Кепти.

Посол Великобритании в России вручил Гирсу ультиматум: «Удаление Комарова и возврат Пенджаба или война с Англией».

Государь слушал взволнованного Гирса, заглядывая в письмо, которое ему пришлось отложить ради доклада министра.

— Что вы мне советуете? — спросил государь, упираясь глазами Гирсу в переносицу.

— Нужно немедленно начать переговоры.

Государь потянулся рукой к какой-то коробочке, достал из нее, к изумлению министра, пятак и медленно, как бы задумавшись, стал сжимать его в руках, пока не согнул.

Протянул монету Гирсу.

— Вам на память... Что же касается Гладстона, то, я думаю, переговоры бесполезны. Займем то, что принадлежит нам по праву, и оставим их кричать. Из этого крика ровно ничего не выйдет. Вы пригласите посла и скажите ему, что не посмели доложить своему государю столь грубого послания.

— Но ведь необходимо принять какие-то меры предосторожности!

— Мы поставим под ружье запас первой очереди, а Комарова, в знак одобрения его действий, наградим золотым оружием и орденом «Святого Владимира» третьей степени с мечами.

Гирс, покручивая в пальцах согнутую монету, удалился.

— Так быстро? — удивился граф Толстой, ожидавший очереди в приемной. — Война откладывается?

Гирс пожал плечами и молча откланялся.

...Румянец на щеках означал, что император в ударе.

— Добрый день, добрый день, Дмитрий Андреевич! — сказал он по-домашнему, принимая донесение. — О бунте на мануфактуре Морозова? Как развиваются события? Найдены ли анархисты? Я на первом донесении так и написал: «Боюсь, что это дело рук анархистов».

— Государь, никаких связей со студентами или профессиональными революционерами не обнаружено. Из доклада губернатора Судьенко ясно видно, что причина бунта — непомерные штрафы.

— Так, я посмотрю.

Пробежал глазами бумагу.

«Правление на уступки не идет и облегчения рабочим делать не желает». Синий карандаш метнулся по бумаге.

Граф Толстой цепким глазом ухватил надпись: «Какие облегчения еще?»

— Что они там, с ума сошли?— Государь оттолкнул от себя бумагу.— Переговоры ведут... Дипломаты! Промышленность трещит по швам, казначейство бьется, как рыба об лед, нам войной грозят, а мы никак не наведем порядок на одной только мануфактуре... Мало войск — возьмите еще... Обычный бунт превратили в событие. Сегодня с утра прислал очередное послание Победоносцев. Просит запретить печатание в газетах сообщений о стачке. Надо не статейки прекращать печатать, надо прекратить саму стачку!..

Часы отбили пять ударов. Государь распрямил плечи, захлопнул папки, лежащие перед ним на столе. Улыбнулся графу.

— Меня ждет Мария Федоровна. Обещал с нею и с детьми удить рыбу.

Граф поспешно откланялся.

«А все-таки он немец, — уже в экипаже, наедине, осмелился подумать о государе граф.— Так его и подбросило, как часы-то пять раз ударили. До пяти себе конец работы назначил, минута в минуту и закончил... А ведь войной действительно по-пахивает... То ли уж очень уверен, то ли глуп очень».

Войны, однако, не случилось. Генерал Комаров перешел речку Кушку и остановился. Был награжден, обласкан. Глэдстон войну затеять не посмел.

II

Ребятишки с Ваней-приютским во главе носились по Никольскому, сдирая объявления Морозова и вывешивая те, что им дал дядя Волков.

«Объявляется Савве Морозову, что за эту сбавку ткачи и придиальщики не соглашаются работать. А если нам не прибавишь расценок, то дай нам всем расчет и разотчи нас по пасху, а то, если не разочтешь нас по пасху, то мы будем бунтоваться

до самой пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а то ежели не согласишься, то фабрики вам не водить».

Одну такую «табель» доставили Тимофею Саввичу.

За окном брезжило серое утро 9 января 1885 года. Морозов, тщательно одетый, но осунувшийся, с мешками под глазами — ночь не спал — разорвал серую бумажку и, глядя в окно и мелко, быстро позевывая, сказал как бы между прочим:

— Лошадей подайте. Поеду в Москву на лошадях.

Потом, напяливая тулуп на шубу и опять позевывая, еще одно распоряжение обронил:

— На хлебные листки выдачу хлеба прекратить.

И пошел садиться. Однако не торопился. В прихожей вдруг вспомнил, что чаю не пил. Чашечку выпил стоя, не скидывая тулупа. Потом вспомнил, что оставил саквояж. Сбегали за саквояжем. А когда, наконец, уселся в сани, к саням примчался сам губернатор, господин Судиенко:

— Тимофей Саввич, отмените ваше распоряжение о хлебе.

— Чтой-то вы все о бунтовщиках печетесь! — уколол фабрикант, неторопливо выбираясь из санок. — Зачем же отменять распоряжение? Люди не работают, нечего им и хлеб мой есть.

— Тимофей Саввич, вы сами понимаете, что ваше распоряжение вызовет новые волнения. И я не ручаюсь...

— Как это не ручаетесь? Вы — власть.

— Господин Морозов, я своей властью могу отменить ваше распоряжение, однако будет лучше, если это последует от вас.

Губернатор был зол: в губернии по вине этого упрямого фабриканта волнения, а он, видите ли, умывает руки. Приехал, намутил воды и бежит подальше от гнева народного. Мерзавец!

Морозов сел в возок, искал глазами Дианова.

— Михаил Иванович, хлеб разрешите выдавать.

И ткнул возницу кулаком в спину. Лошади взяли с места.

* * *

9 января в Орехово вернулся Моисеенко. Танюша, воспитанница, 8-го была в Орехове, и Моисеенко знал: ткачи Викулы и Зимина работу не оставили, потому как им вышла от хозяев прибавка. Вместе с Лукою — он пограмотней был — выработали, сидя на русской печи — залезли туда как бы отогреться, от любопытствующих глаз подальше, — требования рабочих, которые касались не только Морозова, но и fabri-

кантов всей России. Они требовали издания государственного закона, согласно которому:

1. Штрафы не должны превышать 5% с заработанного рубля, и чтобы рабочих предупреждали о плохой работе.

2. Вычет за прогул рабочего не превышал бы более одного рубля.

3. Прогул рабочего по вине хозяина (простой, поломки машин и пр.) оплачиваются в размере не менее 40 коп. в день или 20 коп. за смену.

4. Полное изменение условий найма, чтобы хозяин, желающий уволить рабочего, предупреждал его за 15 дней, также и рабочий предупреждал хозяина за 15 дней о нежелании работать и получал бы полный расчет.

5. Государственный контроль над заработной платой.

6. Уплата заработков не позднее 15-го числа или первой суботы после 15-го.

Сидя на русской печи, два грамотных рабочих, два бывших мужика и сами не знали, что сочиняют государственный документ, что через полтора года сиятельные юристы, издавая свой «рабочий» закон от 3 июля 1886 года, слово в слово перепишут их требование об ограничении вычетов за прогул. И еще несколько раз согласятся ученые юристы с рабочими. В 97-й статье — об уплате жалования через две недели, в 98-й — об уплате вознаграждения рабочему в случае нарушения условий фабрикантом, в 152-й — которая воспрещала фабрикантам присваивать штрафные деньги.

Но все это потом, а пока в Орехово бодро входили четыре казачьих сотни на подмогу двум пехотным батальонам.

В местечке было тихо, начальство попряталось, ни одного человека пока не арестовали. Петр Анисимыч пришел домой. Сазоновна всплакнула вдруг.

— Ну, чего ты? — обнимая, утешал Петр Анисимыч. — Как видишь, плохого пока не случилось.

Из окна было видно, как на переезд вышло человек тридцать казаков. Толпой, прогуляться. Солнышко было нехолодное в тот день. Оттепель приспела, снег помягчел. На казаков поглядеть высыпали фабричные.

Моисеенко пришел из Ликино в дубленом полушубке брата Григория, не успел скинуть — уже одевается.

— Куда? Поешь хоть! — У Сазоновны глаза опять на мокром месте.

— Через полчасака прибегу. На казаков поглядеть охота.

Настроение на переезде у всех хорошее. Шутки, смех. Петр Анисимыч вспрыгнул, как воробушек, на перила шлагбаума. Фабричные его узнали, обрадовались ему.

— Вот они какие, казаки-то, вольные люди! — как бы удивился Анисимыч.

— Чего ж, особые, что ли? — подзадорил его рыжий улыбочатый казачина.

— Как не особые? Особые. Казак — вольный человек, купцу в кабалу с охотой не пойдет. Казака лишь смерть к земле прикрепит, но он, даже мертвый, воли не забудет.

Казаку изба — поле чистое!
Казаку жена — сабля острая!
Казаку торговать не товарами,
А лихим мечом, алой кровью! —

Это уже из Навроцкого, из «Стеньки Разина», наизусть шпарил:

Да теперь времена изменилися,
Атаманы у вас с есаулами
Разжирили, как свиньи, от лености,
Поглупели, как бабы, от старости.

Царь так пригреб теперь вашего брата, что и пикнуть вам нельзя. Позабыли волю, рабством своим величается, как за слугой. Рыцарскую доблесть на беззащитном народе кажете! Нет! Не этот казакон называется. Казак тот, кто за народ стоит, добывает волюшку для черного народа.

Казаки, слушая, серьезными стали, кто ухмылялся, кто хмурился. Ни одного слова в ответ. Постояли и пошли в отведенную им пустую казарму.

— Ребята,— сказал своим Моисеенко,— вы тоже расходитесь. Главное, толпами не собирайтесь, разгонять будут. С казакими ссориться нам не выгодно.

Увидел в толпе Волкова.

— Где ты был, в Москве? — спросил Волков.

— Может, и в Москве... Видишь, войска нагоняют, значит, жди арестов, а наше с тобой дело еще не сделано. Пошли-ка, брат, еще раз поглядим наши требования. Вечером прочтем в казармах, а завтра губернатору подадим. Говорят, московский прокурор приехал.

— Приехал. Муравьев фамилия.

— Муравьев? Какой-то Муравьев обвинителем был, когда цареубийц судили. Большая шишка.

Их окружили рабочие. Шелухин подошел.

— Видите, что это такое — стоять всем сообща? — спросил Моисеенко. — Бастуем мы, а помогли уже многим. У Викулы и у Зимина рабочим прибавку сделали на десять процентов. А вот кабы все фабрики встали, то и прибавка бы другая была, процентов пятьдесят накинули бы...

III

Часов в девять утра, когда уже хорошо рассвело, Моисеенко суматошной своей походочкой припрыгал, как воробушек, как воробушек — и незаметный, к казарме Волкова. Сам в казарму не пошел, кликнул к себе мальчишку, спозаранку гонявшего по дороге мерзлый конский навоз.

— Василия Сергеева знаешь?

— Как не знать? — обиделся мальчишка. — Он в нашей казарме живет! Да кто ж его не знает, заступника?

— Вот и хорошо, что ты его знаешь. Ступай к нему в каморку и скажи: «На улице Щербак ждет». Запомнил?

— Чего ж не запомнить?

Мальчишка убежал и скоро привел Волкова.

— Ты чего же сам-то не зашел?

— Теперь нужно поберегаться. Никак нельзя, чтоб нас вместе схватили...

— Да ведь не хватают никого.

— Погоди, они свое возьмут. Вот что, Василий, пошли по казармам. Унять нужно людей. Пойдут стычки с казаками, все Орехово беды не оберется. Морозов небось только и ждет, чтоб рабочие против властей взбунтовались. Тогда он отвертится. Не его осудят — нашего брата.

Народ, пробудившись, высыпал на улицы: фабрики стоят, что делать — неизвестно. Завидев Волкова, взбодрились:

— Василий Сергеев идет!

Моисеенко замешался в толпе, которая за Волковым двигалась ко второй казарме.

В длинном коридоре стало тесно, открыли каморки, в каморки набились. Лестницу на второй этаж заполонили. Волков хоть и высок, но в задних рядах его не видно. Прикатили кадку, Волков вскочил на нее, подождал, пока утихнут.

— Я вот чего к вам пришел, — начал он свою речь. — Хозяин вывесил объявление, зовет на работу. Он — хитер, а нам надо быть умными. У него свои условия, хозяйские, а значит,

обманные. У нас — свои условия, рабочие, честные. С голоду нам умереть не дадут! Когда рабочие, товарищи наши, в Москве, в Петербурге, в Иваново-Вознесенске, в Твери узнают про наше дело, что стоим на своем, — не оставят они нас в несчастье. Соберут и пришлют нам деньги. Но потерпеть придется...

— Все терпи да терпи! — взвился женский голос.

— Вас-то я и прошу больше всего, милые! У вас на руках семья, детишки грудные. Иной раз и докормить не успеете, голодных приходится отрывать от груди, бежать по звонку на фабрику, чтоб за опоздание штрафа не схлопотать. Эх, чего там! Чего мне жизнь вашу рассказывать?!

— Потерпим, Василий Сергеевич! Согласны! — закричали женщины.

— А согласны, так еще послушайте. Чтоб себе же не навредить — мужики, к вам обращаюсь! — богом вас всех прошу, по улицам зазря толпами не шастайте! Не дразните начальство! Над казаками не смейтесь. И вообще без толку нечего галдеж поднимать. Когда нужно будет, скажу, что делать. Согласны?

— Согласны! Согласны! — кричала толпа.

Волков прыгнул с кадки. Моисеенко незаметно пожал ему руку.

— Молодец! Пошли в другую казарму!

Народ повалил следом за Волковым. Он остановился.

— Товарищи! За мной не ходите! Я иду по казармам. Буду говорить то же, что говорил вам. И еще раз прошу: не собирайтесь толпами, губернатор тотчас казаков пошлет, а драться с войсками нам не с руки.

— Молодец! — улыбался щербато Моисеенко. — Гляди, какой ты молодец! Лучше любого оратора.

Весь день 10 января ходили по казармам, читали свои требования, упрашивали ссор с казаками и начальством не заводить.

Власти рабочих не трогали.

Губернатор в тот день доложил в Петербург: «Наружных беспорядков нет, но убеждений рабочие не слушают. Подстрекательства извне пока не обнаружены».



СМЕХ

I

Серпуховской мещанин Василий Сергеев Волков, вчера ткач, сегодня бунтовщик и заводила бунта, сидел в своей каморке и подшивал жене валенки. Жена его под лампою с картинки вышивала гладью на пальцах Михаила Архангела. Уже был светлый, серебряный нимб, румяное лицо, рука, сжимающая древко копья, половина белого крыла и зеленые чешуйчатые кольца змея.

Супруги работали молча, но про себя они вели друг с другом длинный грустный разговор. Когда нужно было проверить, верно ли подумалось, они вскидывали вдруг, не сговариваясь, глаза, и Василий тогда тихо смеялся, а жена улыбалась... И все это было как бы во сне.

В дверь стукнули. Пальцы упали.

— Войди! — крикнул Волков, сразу охрипнув.

Вошел Моисеенко.

— Боже мой! У меня сердце оборвалось.— У женщины задрожали губы, но не заплакала.

Волков бледный, в серых глазах ледяные камешки.

— Ждете гостей?

— Да ведь говорят... Валенки спешу залатать, зимы впереди много.

Моисеенко поискал, куда сесть, опустился на сапожный ящик.

— Садись на кровать.

— А-а! — отмахнулся. — Ты, это самое, дома не ночуй сегодня. Коли слух идет, что нас хотят заарестовать, значит, побережись нужно. Нам до завтрашнего дня никак в их руки нельзя попадаться.

Покосился на лежащую на полу вышивку:

— Архангела вышиваешь?

— Защиту для меня придумала! — тихо улыбнулся Волков.

— Мы сами себя в обиду не дадим... Завтра в восемь утра приходи в Зуево, в трактир. Оттуда, улучив удобный момент, пойдем с прошением нашим к губернатору... Да веселей вы, ребята! Рано скисать! — Высыпал на стол горсть каленых лесных орехов. — Пошелкайте!

И сразу ушел.

Вспыхивает в лампе, тянется по стеклу длинный язычок пламени.

— Никуда я не пойду из дома, — говорит Волков. — Пойду посижу с мужиками. Если за мной придут, удеру, а коли часов до двенадцати не придут, значит, сегодня не придут.

Волков переходил мост через Клязьму с опаской. На мосту теперь поставили охрану: зувских в Орехово не пускали, чтобы не переняли бунт. Моисеенко встречу в Зуеве не даром назначил, вся полиция, тайная и явная, — в Орехове. Волков торопливо обдумывал, что сказать казакам, если остановят, но тут услышал громкий спор. Бабуся напирала на дюжих казаков:

— Ишь встали! Зачем иду? В церковь!

— В Орехово ступай молись.

— Не у вас мне спрашивать, где молиться. К Пантелеймону я иду, а Пантелеймон — в Зуеве!.. Вот Васька идет, наш человек, грамотный, у него спросите! — И поклонилась: — Василию Сергеичу!

— Идите, идите! — махнул рукой казак. — А то еще с вами толпу соберешь.

Волков пошел за старушкой, удивляясь, как ловко все вышло, но бабуся не унималась и по глухоте своей беседу вела

таким шепотом, что слышать было на обоих берегах Клязьмы.

— Я ведь в церковь иду за твое здоровье и за здоровье Петра Анисимыча свечку поставить. За вас, наших заступничков.

— Бабушка! До бога высоко. Не до нас ему. Сколько годков-то тебе? — поспешил перевести разговор Волков.

— Да я и свечку поставлю, и молитву закажу, и сама помолюсь. Может, и услышит! — надрывалась старуха.

Казак, стоящий на зуевской стороне моста, покосился, но не задержал.

— А что, бабушка, — как перешли мост, спросил Волков, — так уж плохи наши дела, что от бога нам помощи ждать?

— Казарменские все пойдут вас отбивать, коли заарестуют... А у меня драться силов нет. — Старушка встала, задумалась. — Нет, пойду поставлю свечку. Глядишь, моя молитва сильнее силы будет.

Волков распрощался с громкоголосой бабушкой и заскочил в трактир Кофеева. Моисеенко сидел в темном уголке, пил чай с баранками. Как только Волков сел, передал ему тетрадь.

— Ну, Сергеич, теперь черед за нами. Здесь требования. Смотри не трусь. Губернатор — шишка, за ним — полк солдат, а за тобой — одиннадцать тысяч рабочих. Говори смелее. Все равно нам ареста не миновать.

Волков спрятал тетрадь под рубашку.

Петр Анисимыч налил ему чаю, подвинул баранки.

Волков покачал головой:

— Не могу.

— Ты попей чайку, попей. За большое дело, Василий, ответ держать легко... Если меня сегодня не возьмут, буду пробираться в Москву. Нужно, чтоб о нашей стачке в газетах написали, нужно о морозовской каторге на весь белый свет раззвонить, чтоб господам фабрикантам не повадно было обижать рабочего человека. Только вот ума не приложу, как выйти на революционеров. Ждал я в эти дни — никого. Такое шумное дело — и никого.

Волков взял стакан. Отхлебнул.

— Пойду, Анисимыч! Губернатор с утра выйдет народ уговаривать.

— Я за тобой следом... Вместе нам нельзя. Если тебя возьмут раньше, сам буду с губернатором говорить.

Они посмотрели друг другу в глаза. «Чистая душа!» — подумал Анисимыч о Волкове. «Неприметный мужичишка, а какая в нем сила! Кряж!» — подумал о Моисеенко Волков.

— Я старушку встретил,— сказал он вслух.— Пошла за наше здоровье свечку ставить.

— Вот и славно! — И Моисеенко оглушительно расхохотался.

II

Толпа фабричного люда, собранная у железнодорожного переезда по приказу губернатора, ожидала высшего начальства.

Солдаты и казаки стояли в стороне, но солдаты под ружьем, казаки на конях, с нагайками. Прибыл прокурор окружного суда господин Товарков со следователем господином Баскарёвым, прибыли фабричные чины, директора фабрик господи Дианов и Назаров. Прискакал с двумя офицерами жандармский полковник Кобордо,и, наконец, в санках прикатил сам губернатор с начальником жандармского управления полковником Фоминцыным.

Губернатор вышел из санок, поздоровался с представителями власти и, мягко ступая красивыми сапогами на запорошенную утренним снежком землю, пошел к толпе рабочих. Он шел без улыбки, но и не напуская на лицо строгости. Встал довольно близко от первых рядов, так, чтоб видело его как можно больше.

Серьезный, стареющий человек, он с сочувствием оглядел лица рабочих и, не поднимая голоса до крика, а только напрягая, чтобы всем было слышно, объявил:

— Вам, уважаемые, надобно немедленно отправляться на работу или же получите расчет в фабричной конторе.

Из задних рядов тотчас крикнули:

— Не согласны! Расчет по пасху!

— Я повторяю.— Губернатор опять-таки голоса до крика не повысил.— Вы или приступаете к работам с сегодняшнего дня или отправляетесь теперь же к конторе за полным расчетом.

Из толпы выдвинулся Шелухин.

— Нас замучили штрафами. Придираются к каждой штуке товара: нитка оборвется,и то штраф, а без этого нельзя, работаем сразу на двух станках. Пища в харчевой лавке плохая. Делают вычет за баню, больницу, отопление, за свет берут, за все платить приходится. Начнешь говорить — штрафуют вдвое, а мы и так половину заработанного получаем. Шорин совсем озверел.

— Ограбил! — закричали в толпе. — Мы все на него обиду имеем.

— Расследование о штрафах произведено. Штрафы господин Морозов вам возвращает с первого октября включительно. Что же вам еще надо? — Губернатор слегка нахмурился.

— На ихние условия никто согласиться не желает! — сердито выкрикнул Шелухин. — Верно я говорю?

— Верно! Не пойдем! — закричали рабочие.

— Не пойдем на работу! Совсем ограбили!

— Чего же вы хотите?! — пришлось и губернатору крикнуть.

— А вот что нам надо! — из толпы вышел Волков.

— Василий Сергеев! Адвокат! — обрадовались рабочие. — Ты скажи ему! Заступись, Сергеич! Не робей!

— Тихо! — повернулся к толпе Волков. — О деле спокойно нужно обговорить.

Крики тотчас прекратились. Люди тянулись, вставали на носки — поглядеть, как стоит перед начальством свой человек, послушать, что скажет.

Жандармские полковники тоже как бы замерли: вот он — вожак. Молодой! Чуть ли не мальчишка. Не спугнуть бы только!

— Работать на условиях конторы рабочие решительно отказываются, — громко сказал Волков. — У нас написаны условия, по которым все мы согласны продолжать работу.

Он стоял перед генералом, перед судебными шишками и не боялся их. Не боялся, что не то скажет, коряво. Правду говорить просто.

Он видел, как забегали офицерики, от полковников — к казакам и к солдатам. Но за правду пострадать не страшно.

— Ребята, подайте мне условия! — приказал Волков рабочим.

Пошло в толпе шевеление, и тетрабочка из рук в руки была ему тотчас подана.

— Прошу принять требования рабочих! — Волков подошел с тетрадкой к губернатору.

— Это не мне! — Губернатор убрал руки за спину и глазами дал знак полковнику Кобордо.

Волков и этого движения не упустил, но ему, гласу народному, не по чину было бежать и прятаться. Он подошел к прокурору окружного суда господину Товаркову.

— Возьмите наши условия.

Прокурор тетрабочку принял.

— Прошу прочитать публично. Я этого требую!

— Зачинщиков арестовать! — раздалась звонкая команда полковника Кобордо.

Солдаты бегом, цепочкой отделили Волкова и Шелухина от толпы.

— Не трожь Ваську, нашего человека! — заорали в толпе. — Не трожь!

— Товарищи! — крикнул Волков, поднимая над головой жатый кулак. — Нам пред капиталистами и говорить не позволено. Пропадать, так пропадать вместе! Я за всех и все за меня?!

— Все! Все! — кричали фабричные. — Васька, все за тебя!

Казачи врезались в толпу, отделили первые ряды, свистнули нагайки, щелкнули затворы винтовок.

Господин губернатор поспешно садился в санки: все это ему, старому либералу, было неприятно, но — служба.

* * *

— Дядя Анисимыч, назад!

Моисеенко зорко и быстро глянул вдоль пустынной зияющей улицы и только потом чуть скосил глаза на голос: возле старого вяза стоял мальчишка и двумя руками, как бы подгребая, звал его к себе. Моисеенко отступил за дерево.

— Ваня, ты?

— Я, дядя Анисимыч! Не ходи дальше, губернатор дядю Волкова забрал, а с ним еще человек, может, сто!

— Куда это забрал?

— Во двор их всех впихнули, а у ворот — караул. С пиками, ружьями.

Моисеенко сдернул шапочку, быстрыми движениями пригладил рыжеватые вихры и опять надвинул треух по самые глаза.

— Так... Твои приютские-то где? Далеко?

Ваня сунул два пальца в рот и свистнул. Тотчас из-за углов, из подъездов, с деревьев посыпались мальчишки и девчонки.

— Это мы тебя бережем, понял?

— Меня? Кто же это вас надоумил меня беречь?

— Дядя Волков... Так и вейтесь, сказал, вокруг Анисимыча. Сам сказал. Ей-богу! Если, говорит, кто наскочит на него, орите и звените, чтоб на помощь люди бежали.

Моисеенко оглядел подскочивших мальчишек и девчонок,

впереди — приютские, Ванино воинство. Чуть не потерялся среди них, сам-то он повыше ребят на голову разве.

— Летите, братцы, летом во все казармы, и чтоб все люди тотчас на улицу шли. «Волкова губернатор схватил!» — так и кричите.

Ребята — врассыпную, один Ваня не ушел.

— Мне от тебя нельзя, — голову опустил. — Сам понимаешь, шпики тебя небось днем с огнем ищут.

Анисимыч подмигнул:

— Не дрейфь, Ваня. Они, может, и теперь на нас через щелочку глядят, а взять — кишка тонка. Смотри, как люди-то из казарм высыпают.

Моисеенко поднял правую руку, пошел к рабочим:

— Братцы! Идем к губернатору. Если ему нужно, пусть всех забирает, а не нужно — пусть наших товарищей всех до одного отпустит.

Бросились к воротам.

— ...Товсь! — раздалась воинская команда.

Казаки выставили пики.

— Не дрейфь, братцы! — Моисеенко рванулся на частокол пик, но казак, стоявший против него, не дрогнул, ткнул острием в грудь. От удара Петр Анисимыч отлетел в снег.

«Не испугались бы!» — подумал о своих и тотчас вскочил на ноги.

Толпа уже подалась куда-то в сторону.

— В банные ворота! — кричали.

Банные ворота оказались открыты. Толпа ворвалась во двор. Кто-то кинулся к звонкам.

Тревога! Тревога!

Люди бежали из казарм на помощь. Анисимыч прислонился к стене, перевел дух. В глазах почему-то плыли зеленые и красные круги.

— Дядя Анисимыч!

Как тяжело разжать веки.

— Это ты, Ваня?

— Нет! Я Ванин друг. Помнишь, ты в приют к нам приходил?

Петр Анисимыч, сбросив оцепенение, поглядел на мальчика:

— А, чернявенький! Помню.

— Я знаю, где сидят арестованные.

Тяжесть отлетела прочь.

— Где? Караул есть? Много?

— Никого.

— Веди.

Чернявый вел в приют.

Три-четыре совсем маленьких мальчика ползали по полу в просторном зале.

— Где же арестованные?

— В другом отделении! Вот дверь.

Дверь была заперта, но вдоль стен — тяжелые, во всю длину, скамейки.

— Помоги!

А мальчишки тут как тут уже. Подняли скамейки, крикнули, раскачали:

— И-и-и-ах!

Дверь подалась.

— И-и-и — ах!

Настежь.

Столовая приютская. На другом ее конце сгрудились арестованные.

— Выходи!

Кинулись бежать.

— Волков здесь?

— Нет, с Шелухиным в контору его увели.

Пока разбегались, Петр Анисимыч стоял, пропуская. Осталось человек семь.

— А вы что же? Не хотите? На милость надеетесь! Глядите, промахнетесь.

Побежал из приюта, четверо, поколебавшись, за ним, трое остались. Струсили.

Во дворе уже солдаты цепью. Теснят.

— Что вы делаете? — крикнул Моисеенко с крыльца. — Прочь! На кого подняли ружья? На отцов своих, на братьев!

Выбежал к самой цепи. На него медленно шел солдат. Так же медленно, не сильно, уперся штыком в грудь.

«Второй раз за день», — мелькнуло в голове. Схватился за ствол ружья, дернул на себя, и вдруг ружье оказалось у него в руках. Не по своей, видать, охоте солдат на рабочего ружье направил.

Моисеенко бросил ружье в снег, перебежал к своим.

— Отходи, ребята!

Толпа качнулась, попятилась. Солдаты перестроились, ружья на руку. Замерли.

Моисеенко увидел, что среди рабочих есть раненые.

— Что тут было?

— Дрались с солдатами. Они кинулись вам наперерез, ну, а мы на них.

«Вон как осмелели»,— подумал о своих.

Во дворе появился владимирский губернатор, московский прокурор Муравьев, владимирский прокурор, полковник на лошади, с ним казаки, тоже на лошадях.

— Рабочие!— громко и властно крикнул губернатор.— Зачем вы сделали это? Вы противитесь власти, которая поставлена над вами еще более высшей властью! Вы нарушаете порядок и своими поступками делаете для себя хуже.

«Вот и мой черед»,— сказал себе Моисеенко и выступил из толпы.

— Неправда! Не мы нарушаем порядок! Мы не пошли бы на это, если бы вы не арестовали рабочих, которые подали вам требования мирным путем. Все это из-за вас. Поглядите, вон кровь рабочих, раненных вашими солдатами.

— Этого нужно арестовать! — наклонился с седла к губернатору полковник.

— Попробуй! — крикнул Моисеенко.

Полковник тронул повод, но толпа рабочих сделала шаг вперед, и Моисеенко исчез в толпе. Он крикнул из толпы:

— Освободите Волкова и остальных! Иначе вам придется всех нас арестовать, с женами и детьми.

— Эй! Губернатор! — зазвенел озорной женский голос.— Чего ты за нами бегать приехал? Аль Морозов штаны новые посулил?

И грянул смех. Рабочие хохотали, глядя, как багровеет, как поглядывает на своих, ежась круглыми плечами, сытый, весильный человек.

— Аль Морозов штаны новые посулил? — крикнул во весь свой звоночек Ваня-приютский.

И толпа снова закачалась от смеха: всех галок с деревьев смехом этим так и сорвало. Летят, галдят, отродясь не слышали, чтоб столько людей разом смеялось.

Моисеенко прибежал в девятую, самую людную казарму. В коридоре столкнулся с Ефимом и Матвеем — неразлучными друзьями.

— Дядя Петя, мы тебя теперь только издали видим.

— Такое дело... Давайте, ребята, живо по каморкам. Собирайте людей, пойдем к Главной конторе Волкова отбивать.

Сам поднялся на второй пролет лестницы, подальше от дверей, сел на ступеньку, переобулся. Коридоры оживали, гудели, гул нарастал. И вот уже катится вниз по железной лестнице волна сердитого народа.

— Пошли Ваську, нашего человека, выручать! — крикнул Моисеенко, распахивая наружную дверь.

А возле дверей сам полковник Кобордо с тремя жандармами.

— Здравствуйте, ваше высокоблагородие! — скинул перед ним шапочку Петр Анисимыч. — В гости или как?

Толпа вываливалась из казармы, затопляла двор, как вешняя вода.

Оглянулся полковник, а отступить некуда. Невольно рука легла на эфес шашки.

Петр Анисимыч звонко почмокал губами.

— Не шуткуйте, ваше высокоблагородие! Коли шашку поднимете, зашибут. Ну, а коли она вам мешает, могу от вас принять.

Протянул руку. Жандармы не шелохнулись. Полковник голову в плечи убрал, пальцами за светленькую пуговицу ухватился.

— Казаки! — крикнули из толпы.

— Моисеенко нырнул в толпу. Толпа, обтекая полковника, помчалась к Главной конторе.

Ворота во двор заперты. Перед воротами две сотни солдат и две сотни казаков на лошадях.

— Выпускайте Василия, нашего человека!

Зазвенели окна. Засвистели нагайки. Толпа качнулась, разломилась надвое. Распахнулись ворота. Еще одна сотня казаков, окружив Волкова, прокладывала дорогу к рельсам.

А на рельсах ждет под парами поезд. На крыше поезда, на подножках, на буферах — жандармы. Паровоз свистнул, тронулся. Волкова сунули в вагон на ходу.

Моисеенко этого уже не видел, в суматохе он перебежал в Зуево, охрана на мосту была на время снята, ее позвали на помощь к Главной конторе. Из Зуева — в Дубровку. Здесь, не раздеваясь, прикорнул у знакомого.

Глубокой ночью Моисеенко ушел в Ликино.

...Вечером 11 января из Москвы прибыли еще один батальон солдат и две сотни казаков.

Фабричная администрация, желая угодить Тимофею Саввичу, отдала в распоряжение солдат рабочую казарму, а так как свободных казарм уже не было, то оставалось одно — выкинуть строптивцев рабочих на мороз.

— Бабы, двери запирай! — раздался по коридорам звонко-зычный клич Марфы. — Старые щи да кипятки готовы!

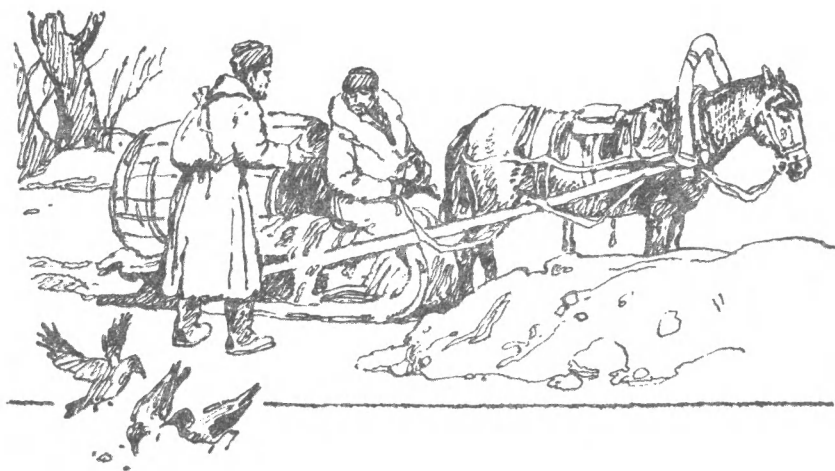
Солдатушки, brave ребята, бодро, строем пришагали к отведенной под их жилье казарме. Крикнули свои команды — и к дверям, а из окна первому смельчаку пал на голову шмоток протухшей капусты.

Главный командир осерчал, ножкой топнул, ручкой взмахнул:

— На приступ!

А тут уже изо всех окон, кто чем, горячим и холодным, жидким да липким, пахучим, и очень даже пахучим.

Воинству пачкаться неохота, отступило. И от губернатора примчался офицер с приказом бунта не усугублять.



ХОЖДЕНИЯ ПЕТРА АНИСИМЫЧА

I

В Ликино Моисеенко застал всех своих в сборе: татьянин день. У Танюши, воспитанницы, именины, а в Орехове — войска.

Петр Анисимыч поздоровался, дверь за собой закрыл и давай раздеваться. Зипунок скинул, пиджачок, а рубаха к груди прилепилась. Вся в крови.

Лука осмотрел рану:

— Не глубоко. Пройдет.

Танюша увидала кровь, заплакала.

— Имениннице грех плакать. Мне не больно.

Танюша вдруг быстро сняла с себя крестик и надела на Петра Анисимыча.

— Бог вас хранит!

Лука засмеялся.

— Вот тебе и награда! Мы-то, старые хрычи, кричим — бога нет, а молодое поколение нам крестик во спасение души и от земных наших неурядиц!

— Ты письма из Сибири или уничтожь, или спрячь получше! — напомнил Петр Анисимыч.

Поговорили о сибирских сидельцах, написали им письма: Лука своим друзьям, Петр Анисимыч Лаговскому.

— Сюда бы их! — тосковал Моисеенко. — Нужно, чтоб о стачке нашей по всей империи слух прошел. Толковых, грамотных людей надо найти, студентов.

— Сходи в Москве к моему брату. Он человек наш, свяжет тебя с революционерами.

Днем идти было опасно, дождался Петр Анисимыч ночи, надел братовы валяные сапоги, его же полушубок и шапку. Отправился на железную дорогу. Решил в Павловском Посаде на поезд сесть, хоть и далеко, двадцать верст, а все без опасней.

Ох, ножки, ноженьки! Опять на вас одна надежда.

Моисеенко шел размашисто, особенно не торопясь: до утреннего поезда времени много, а раньше прийти тоже не больно хорошо.

Над головою вздымалось черное звездное небо. Моисеенко отыскивал среди светил самые синие, самые горячие, а когда глядел на дорогу, ему чудилось, будто сквозь ночь, через километры, деревеньки и леса смотрят на него глаза Сазоновны, теряют его, мечутся, а как найдут одинокого на пустынной дороге, так и светлее вроде бы. Смотрят эти глаза на него и ведут его, ободряя, самыми безопасными тропами.

Черным пятном среди снегов распластался деревянный низенький Павловский Посад. Темно, тихо. В привокзальном трактире горел огонь.

Зашел. Сонный буфетчик поднял на него безразличные глаза.

— Переночевать можно?

— За пять копеек можно. Паспорт есть?

— Да я из Бунькова! Будь другом, чайком попотчуй.

Сел за стол. В трактире никого.

Только буфетчик принес чаю, скрип снега на дворе, голоса. Вошли двое, один с фонарем.

— Кто сейчас пришел? — спросили у буфетчика.

Буфетчик указал на Моисеенко, а тот, как бы очнувшись от дремы, не торопясь подошел к рукомойнику, умылся, утерся своим платком. Посморкался громко и опять сел за свой чай.

Эти двое тоже взяли чай и сели за стол.

— Скорей бы уж прихватили где этого бунтовщика! — пробурчал один. — Он-то небось спит и сны видит, а ты бегай, высунавши язык, всю ночь напролет.

— Ты погляди этого-то! — шепнул второй.

— Сам погляди.

Второй не поленился, встал, подсел к Моисеенко.

— Откуда, мил человек? Куда в такую рань?

— Из Бунькова я. На фабрику Коншина в Москву за товаром еду. — Моисеенко долго и сладко зевнул. — Дремлется. Поспешил, а теперь сиди, жди вот...

Субъект отошел, а Моисеенко так вдруг и прошибло потом: вспомнил, что в кармане у него письма в Сибирь.

Задрожали рельсы, загудела чугунка, крикнул приближающийся поезд.

— Не прозевай, — сказал буфетчик Моисеенко.

Тот вскочил, стал расплачиваться. Эти двое тоже быстро поднялись и вышли. Моисеенко за ними следом. Они — на станцию, а он — двумя прыжками за лавочку, другую. А эти двое уже назад бегут, сунулись в трактир и еще скорее назад, на станцию.

И зашагал Петр Анисимыч, за добрую версту обходя стороною вокзал, в Богородск.

II

Кому-то он был все еще страшен, даже очень. Небось добрая сотня людей, а то и все десять сотен ищут его, ловят. Никогда не знали, слыхом о нем не слыхивали, но теперь ненавидят, да так, что готовы бить и убить даже. Детям, со службы придя, страшное про него рассказывают. Жены этих служак смотрят на мужей с надеждой: а вдруг муж-то и поймает злодея, мужу медаль дадут, повысят в должности. Злодей-то не прост, о нем не только министру — царю доложено.

— Хотят изловить! — вслух сказал Моисеенко и остановился.

Да, все хотят его изловить, не дать ему уйти... Но куда? Тишина набилась между сосен: ни ветра, ни хруста.

Куда идти-то?

Забрести в глухомань, вырыть землянку и отсидеться, по-медвежьи, до ландышей? Тогда не поймают. Совсем, может, и не запомнят, а все не так помнить будут.

Вдруг — колокольчик. На санях кто-то шибко катит.

Анисимыч сиганул за кусты.

Переждал, пока проедут. Наст в лесу крепкий. На дорогу выходить не стал, пошел напрямик — сторона знакомая — и угадал, вышел на Ключево.

Постучался к хозяйке, у которой был летом на постое. Хозяйка за стол усадила, а занавесочки-то прикрывает наглухо.

— Кутерьма у нас. Как услышали, что у Морозова бунт, контора все штрафы тотчас простила, расценки повысила, за тех, кто живет на вольных квартирах, сама платит. — Тут хозяйка пристально поглядела на Петра Анисимовича и добавила шепотом: — Говорят, будто у Морозова кашу-то заварил ты.

— А вам, я гляжу, от этого хуже не стало? Не стошнило, поди, от этого?

— Да нет, это я к слову.

— Ты лучше скажи, можно ли пробраться на фабрику? Повидать кой-кого надо.

Хозяйка так и вспорхнула с легкого венского стульчика.

— Да разве можно тебе? Да тебя в дверях схватят! Боже тебя избавь!

Напился чаю, поблагодарил за приют и пошел на большак, в Москву. До Москвы сорок верст. Сначала один шел, потом мужичка нагнал. Был мужичок отставным солдатиком, в сторожах в Богородске у Морозовых служил, да вот прогнали. Идет в Москву места искать. До Москвы в тот день не дошли. Заночевали в деревеньке. Хозяин бросил странникам пук соломы, а те как легли, так и заснули тотчас.

В Москве Моисеенко направился к Покровским воротам, где водовозом у родного дяди служил брат Луки — Петр Иванович. Только подошел к Покровскому бассейну, а водовоз вот он, вместе со своей бочкой.

Поздоровались: Петра Иваныча Петр Анисимыч еще в Петербурге встречал. Поговорили о погоде, о Луке: у него, мол, все в порядке, бунт Ликино не затронул. А то, что у Морозова на Никольской мануфактуре бунт, в Москве уже знали. Моисеенко и спросил напрямик, не укажет ли Петр Иванович человека, через которого можно познакомиться с интеллигенцией, которая за народ. Петр Иванович руками развел.

— Эх, вы! — рассердился Моисеенко. — Живете в Москве, а связей не имеете.

На том и расстались.

В адресном столе разыскал сестру Матрену. Она жила у строгих хозяев, потому пошли с нею в трактир, чаю попили. О своем житье Петр Анисимович помалкивал, все больше слушал. Спросил адрес бабушки, обещал зайти. От Матрены направился к Девичьему полю, здесь на фабрике Гюбнера работал двоюродный брат. На фабрику Моисеенко не пустили — посторонний человек. Делать нечего, кинулся к университету, авось попадетсЯ хороший студент.

Студентов много, а как к ним подойти? «Я, мол, стачку учинил, а теперь вот и сам не знаю, что делать. Знать-то, может, и знаю, но не покажете ли мне, добрый человек, стоящего революционера?»

Так и не решился Петр Анисимыч к студентам подойти. Все чистые, и как знать, чьи они детки.

Ночевал в крошечной кухне у бабушки. Разрешения у господ пришлось испрашивать, на вторую ночь не больно придешь. Побродив полдня по городу, опять на фабрику побежал, встретил брата, тот нужных людей не знал, но переночевать оставил. С утра все то же: толкался возле университета, бродил бульварами, вглядываясь в лица гуляющих. И наконец очутился на Хитровом рынке.

В трактире шепнул уголовникам:

— Нужны очки.

— Будет сделано.

Через пять минут явились с паспортом.

— Сколько?

— Полтора рубля.

Поглядел — липа, со всех сторон видать, что липа.

— Не годится.

Ночь прокоротал за три копейки в вонючей и грязной ночлежке.

Едва рассвело — пошел на Ильинку. Оставалась последняя надежда — родственник Аппельберга.

«Какого же маху мы с Лукой дали! — казнил себя Моисеенко. — Думали, начнется стачка — и революционеры тут как тут. Видно, пока отбывали ссылку, жандармы сложа руки не сидели. Соображать надо было! Коли царь решился короноваться, значит, уверен был — стрелять некому...»

Шагает Петр Анисимыч по Ильинке, торопится. И — стоп!

Возле знакомого дома — экипаж. Орест жену подсаживает, сам в бобровой шубе, рядом городской. Как Орест сел, городской подскочил дверцу затворить. Шпорами шелкнул, руку под козырек, на лице почтение и приятность.

Анисимыча озноб прошиб. Черт те что! Может, Орест этот богач или особа, а может, и полицейский чин, коли городской вместо швейцара.

Завернул Петр Анисимыч в переулок, пот со лба вытер.

Дела... Нужно на что-то решиться, нужно продолжать борьбу! Но какая борьба, если ты один. Пошел к центру.

У разносчика газет спросил адрес «Русских ведомостей». Больше медлить нельзя. Нет путей к нелегальным, надо рискнуть. Надо вывести Морозова на чистую воду.

В дверях редакции — швейцар.

— Что господину угодно?

Ковровые дорожки, картины в рамах, чисто, тепло. Швейцар породистый, медленный, а кулаки — для мордобоя.

— Что господину угодно?

— Мне нужны газеты за пятнадцатое, шестнадцатое и семнадцатое.

По спине так холодком и царапнуло: «Если в газете такой швейцар — правды не жди, не жди сочувствия рабочему человеку». А швейцар вот он.

— Пожалуйста требуемые номера.

Моисеенко полез за мелочью, заплатил, взял газеты. Ватные ноги вынесли на улицу. Забрел в трактир. Взял чаю. В одном из номеров было и про стачку на Никольской мануфактуре. Сообщалось, что бунтовщиков высылают на родину.

«А ведь мужики-то и сказать за себя слова не умеют!» — подумал, и сразу стало ему спокойно и ясно.

Вечером он был в поезде. Сошел в Дрезне. Прежде чем отдаться в руки властей, хотел поговорить с Лукой. Пусть Лука едет в Петербург, ищет связей с нелегальными.

В Ликино на околице наскочил на мужиков.

— Да ведь это ты, Петр Анисимыч!

— Я!

— А мы тебя три дня ждем.

— Коли дождались, берите.

— Да нет, ступай себе. Только Луку твоего взяли и брата.

— Так. — Постоял с мужиками. — Вы, это самое... пойду с воспитанницей попрощаюсь. Тогда и приходите за мной. Не робейте, ребята. Так нужно.

...Всю ночь просидел в съезжей, и всю ночь приходили к нему рабочие. Он им всё стихи читал:

Ты работай как хошь — от нужды не уйдешь,
А как век доживешь, как собака помрешь.
Что за лютый злодей, за лихой чародей
Наши деньги берет, кровь мужицкую пьет.
Эх, не лютый злодей, не лихой чародей
Наши деньги берет, кровь мужицкую пьет.
А толстопузый купец да царь белый — отец
Разорили вконец.

Слушали в ту ночь люди Петра по-особенному, все губами шевелили — видно, очень хотелось запомнить сказанное.

III

В Орехово Моисеенко привезли еще затемно.

Первым его допрашивал судебный следователь Павел Андреевич Баскарев. В огромной комнате пустота — всей мебели: стол, лампа над столом, два стула. Топилась, потрескивая сухими дровами, голландка, но воздух еще не прогрелся.

Следователь пришёл очень скоро, в одном только мундире, поздоровался, прибавил в лампе огня, сел за стол, раскладывая бумаги и книги.

Был он бледен, под глазами мешочки, взгляд рассеянный.

Погрел дыханием холодные, посиневшие, с белыми косточками руки, взял ручку и как бы забылся.

— Простите! Прошу садиться,— предложил он Моисеенко.— Можете не раздеваться.

— Да тут и вешалки нету! — передернул плечами Петр Анисимыч.

— Да, кажется, нет. Вы правы.

Следователь отложил ручку, разгладил и без того гладкий, лощеный лист бумаги и опять ушел в себя.

Павел Андреевич Баскарев вел следствие с первого дня стачки. Человеком он был честным до щепетильности, а потому почитал своим долгом вести следствие безукоризненно, беспристрастно: все безобразия толпы и отдельных личностей из рабочих отметил, но заодно провел расследование системы морозовских штрафов, подвергнув опросу фабриканта Морозова и его служащих. Работа спорилась, работа на виду у высшего начальства, стало быть, если не отметят, так заметят. И вдруг, перед самой кульминацией дела, когда пошли аресты,

были взяты зачинщики, а теперь и главный заводи́ла, случилась беда в собственном доме Павла Андреевича...

Жена родила третьего ребенка, девочку. Для ухода за роженицей и за новорожденной он нанял сиделку, а сиделка эта, темная баба, занесла в дом скарлатину... Сразу три смерти грянули на голову бедного Павла Андреевича: умерла жена и двое старших детей.

Начальство предоставило потрясенному отцу рухнувшего семейства недельный отпуск, но от дела не отстранило: следователь Баскарев находился в Орехове с первого дня бунта, в его руках были все нити разбирательства, результатов которого ждал сам император.

Павел Андреевич только вчера вернулся из отпуска, и сразу же пришлось допрашивать главного зачинщика.

Сам Баскарев — выходец из провинциального, вологодского духовенства, университет он закончил Московский, а потому причислял себя к людям думающим, без предрассудков. Но вот теперь сидел он, затаив страшное свое горе, перед человеком, затеявшим столь громогласный народный бунт, и казнил себя: «Это бог меня наказал! За беспристрастие, которое есть не что иное, как самая омерзительная ложь в пользу толстосума. Разве этого мужичка, что сидит теперь перед господином следователем, под конвоем держать надобно? Надобно солдат к Тимофею Саввичу приставить. К нему, устроившему рабскую плантацию посреди святой матушки-России».

— Прошу отвечать на мои вопросы! — Баскарев усилием воли заставил себя начать работу.

Петр Анисимыч, удивленный нерасторопностью следователя, не видя в лице его предубеждения против себя, насторожился: «Экая лиса!»

— Я, господин...

— Меня зовут Павел Андреевич.

— Я, господин, ни на какие вопросы отвечать не стану и никаких показаний давать не буду.

— Как так?

— А вот так! Вы все сами с усами. Я хоть и докажу вам свою правду и полную невинность, а вы все равно найдете предлог меня засадить. Так что не взыщите.

Следователь взял книгу свода законов, полистал, что-то отчеркнул острым карандашиком и, забыв закрыть ее, поднялся из-за стола.

— Вы еще подумайте, а я на минуту выйду.

И вышел.

Моисеенко приподнялся на стуле, заглянул в раскрытую книгу. Подчеркнута была статья 308-я: нападение на военный караул... Каторга от пятнадцати до двадцати лет.

— Не лиса, а истинный волк! — оценил действия следователя Петр Анисимович.

Александр III просматривал донесения с Никольской мануфактуры каждый день.

12 января. Из Орехова выслано 112 человек в Москву, 71 — во Владимирскую тюрьму.

13 января. В Москву — 93, во Владимир — 36 человек.

14-го. Оцеплены казармы. Арестовано 170 рабочих.

15-го. Рабочие начали выходить на работу.

16-го. В Москву выслано 220 человек, во Владимир — 82.

17-го. В разные губернии, на родину, выслано 333 человека.

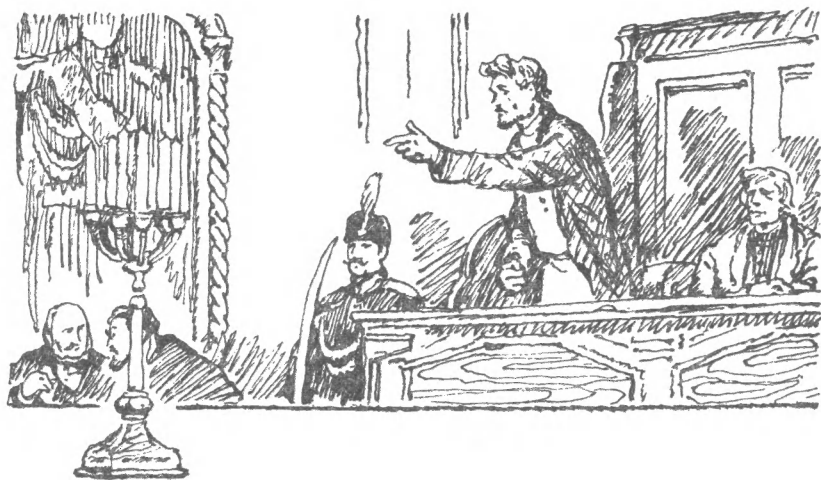
«К мере этой (арестам), — сообщал губернатор, — к сожалению, толпа относится не только равнодушно, но идет под арест весьма охотно. Арестованные поют песни и весело вступают в отведенное для них помещение, встречаемые радостными возгласами находящихся там прежде задержанных своих товарищей».

И наконец долгожданная телеграмма.

18 января. Арестован главный зачинщик стачки Петр Анисимов Моисеенко.

«С этих пор стачку можно считать законченной и порядок восстановленным. 19 января работало 4508 человек. На понедельник записалось еще триста».

Синий карандаш на уголке донесения начертал: «Дай бог, чтобы так и продолжалось».



СУД

I

Дистья-то какие! С ладонь! — У Волкова слезы на глазах. Виски у него совсем голубые, а губы — словно клюкву ел. Былая статья обветшала, лопатки, как топорики, через халат торчат. Плечи подняты, со стороны поглядишь — изнемог человек от холода.

— Ничего! — Моисеенко быстрым глазом схватывает: деревья зелены, конвоиры простолицы, серьезные, солнце играет. — До суда присяжных дожили, теперь не пропадем. Теперь не сгноят втихую, коли напоказ выставляют.

— Разговаривать запрещено! — без особой строгости предупреждает начальник конвоя.

— А мы и не разговариваем! — весело откликается Моисеенко. — Мы сами с собой. Полтора года без суда оттрубили, вот и заговариваемся.

— Глядите-ко! Воробыи в луже полошутся, — налегая повладимирски на «о», радуется большому городу, деревьям и людям старик Лифанов. — Это к дождю. Верная примета.

Старик Лифанов — третий. Его вчера привезли из покровской тюрьмы. Статья, по которой его будут судить, та же, что и у Моисеенко: нападение на военный караул — 15—20 лет каторги. Во время стачки Лифанов прибежал отбивать сына

из-под стражи. На солдата доской железной замахнулся. Не ударил. За один замах сидит.

— Ничего! — снова говорит Моисеенко и с нажимом хлопает по согнутой спине Волкова: распрямись, мол, люди смотрят.

А людей на улице много. Все Орехово и Зуево прикатили во Владимир.

— Анисимыч! Васька! Живехоньки? Табаку надоть? Деньжонок вот собрали.

Конвоиры щетинят винтовки:

— Назад! Не подходить!

— Ребята! — говорит Моисеенко. — Не сердите конвой. Солдаты люди подневольные, у них служба. Все, что хотите передать, передайте нашим женам, через них мы все получим.

Сазоновна шагает по краю тротуара, ведет под руку жену Волкова. Та перед судом целую неделю проплакала, а теперь каменная: одни глаза от нее остались. Перед собой глядит. Беспокойно Сазоновне за нее, с Анисимычем словечком некогда перекинуться. Идет Сазоновна и ласковое что-то говорит и говорит подружке по несчастью. Та не слушает и не слышит, а Сазоновна говорит, говорит, сама не помнит, что говорит. Знает, надо ручейком журчать, чтоб человек в себя пришел. Ручеек, если он добрый, весенний, в любой льдине проталинку выест, а где проталинка, там и полынья, и ледолом, и чистая вода.

— Анисимыч, Морозов-то — носа не кажет в Орехове! — кричат рабочие. — Теперь другой коленкор. Штрафов — ни божь мой!

Анисимыч подмигивает, улыбается, а краем глаза — на спину Волкова. Распрямилась спина.

— То-то, Василий Сергеич!

Волков понимает, улыбается.

— Господа, господа, скоро будет издан рабочий закон!

К ореховским рабочим присоединились владимирские студенты. Один из них, беленький, покраснел до корней волос.

— Я правду говорю. Я это знаю точно. Уже через неделю, в крайнем случае через две, будет издан рабочий закон.

— Все законы против нашего брата, — говорят рабочие студенту.

— Однако это все-таки закон. Он поставит фабрикантов в определенные рамки.

— Знаем мы эти рамки: у них любое окошко в крестах.

— Господа, но если бы не вы, не ваш бунт, не было бы и этого закона! — У студентика слезы на глазах. От волнения, от того, что рабочие не принимают его всерьез. Он знает и открыл им настоящую государственную тайну о новом законе, а рабочие смеются.

«Закон,— думает Моисеенко,— давняя новость».

Когда его арестовали, жандармский полковник настаивал, чтоб свои показания Моисеенко написал под его диктовку. Моисеенко отказался. Тогда к нему пожаловал прокурор Добржинский, посланный в Орехово из Петербурга министром внутренних дел.

— Голубчик, почему вы отказываетесь дать показания?

— Я не отказываюсь дать показания, я прошу только, чтоб мне дали бумаги, чернила и перо. Показания я напишу.

— В таком случае, вот вам комната и бумага. Садитесь, пишите, я прикажу, чтобы вам подали чай.

В Петербурге ждали сообщений, сам император ждал, потому за строптивым ткачом прямо-таки ухаживали.

Когда писал, пришли московский прокурор Муравьев и владимирский — Товарков. Посмотрели, что Моисеенко насочинял. Товарков плечами пожимает:

— К чему все эти мелочи?

— Из мелочей составляется целое,— возразил Муравьев.

— Да, но все это лишнее, ведь скоро должен быть издан закон о рабочих.

— Теперь, может, скоро,— усмехнулся московский прокурор.— Но не будь этой стачки, пришлось бы ждать лет десять.

Полтора года прошло, а закон не издан, стачка напугала, но забывается.

— Господа! Господа! — Беленький студентик пришел в себя и опять суетится.— Мы, то есть студенчество... Передовое, естественно. Пока еще не все понимают. Мы собрали деньги...

— У нас все есть! — смеется глазами Моисеенко.— Вы через наших жен книжек пришлите. Кроме Библии, в тюрьме нечего почитать.

— Конечно! Обязательно!.. Господа, мы теперь уйдем. Надо попасть в зал суда. Это трудно. По билетам пускают.

Студенты убежали вперед, и тотчас новый знакомый, на пролетке, господин Баскарев, следовательно. Увидел процессию, нашел глазами Моисеенко и шляпу снял.

— Видал? — спросил у Волкова.— Что-то сегодня уважают нашего брата. Или оправдают, или уж на всю железку...

В первый день ареста этот господин, оставив его одного писать очередной протокол, как бы нечаянно забыл открытым том законоположения на статье 308-й: нападение на военный караул. Каторга от 15 до 20 лет.

«Каторги я не боюсь,— сказал тогда Баскареву Петр Анисимыч.— Я вперед знал, что вы меня не помилите. Постараетесь запрятать, куда Макар телят не гонял».

Вспомнил это и потихоньку запел:

Жандарм с усищами в аршин
Девятый шкалик выпивает,
Гремит, звенит и улетает,
Куда Макар телят гоняет.

— Ты поешь? — вскидывает брови Волков.

— Пою, брат! Сегодня праздник у нас. Пою.

Подновленный, в золоте куполов Успенский собор.

— Ему бы усы! — говорит Моисеенко.

— Кому? — спрашивает Лифанов.

— Собору. На богатыря похож.

— Тьфу ты! Нехристи! — Лифанов истово крестится на золотые кресты.

Суд — рядом с Успенским. Огромное казенное здание.

— Здесь и взятки берут, здесь и горе мыкают, — бормочет Моисеенко: он в настроении.

В арестантской сели прямо на пол — лавки для солдат, — путь был не близкий, ноги с непривычки, давненько так не хаживали, гудят.

Вошел взволнованный Шубинский. Адвокат.

— Федор Никифорович все-таки не приехал. Вчера еще была надежда...

Федор Никифорович — это великий адвокат Плевако. Он был защитником Волкова и Моисеенко на первом суде, в феврале месяце 86-го. Тогда он здорово сказал: «Я сознаюсь, грешный человек, что до настоящего времени не знал ничего. Фабрика Морозова была защищена китайской стеной от взоров всех, туда не проникал луч света, и только благодаря стачке мы теперь можем проследить, какова была жизнь на фабрике. Если мы, читая книгу о чернокожих невольниках, возмущаемся, то теперь перед нами белые невольники». Куда как здорово сказал. Судили в феврале 17 человек по обвинению в буйстве и стачке. Двоих оправдали, остальных приговорили к отсидке от двух недель до двух месяцев, а Моисеенко, Вол-

кову и прядильщику Яковлеву дали три месяца тюрьмы и постановили приговор в исполнение не приводить до решения суда присяжных по другому делу.

Сегодня 23 мая 1886 года. Сегодня слушается дело 33-х. Плевако на этот суд не приехал.

— Обойдемся! — шепнул Моисеенко Волкову.

— Пойду-ка я в уборную. Может, с воли чего передадут. Двое конвоиров увели Волкова. Вернулся быстро.

— Тебя зовут.

Только Моисеенко за дверь, а там рабочие:

— Анисимыч! Щербачок ты наш! А говорили, что тебя через мельницу пропустили, чтоб концов не найти.

Эти, видно, только что приехали, не ходили к тюрьме смотреть, как поведут. В уборной Моисеенко поджидал рабочий с бутылкой.

— Анисимыч, пей! Для подкрепления духа. От всех нас.

— Благодарствую! Нельзя.

— От всего мира, Анисимыч! Не обижай!

— Дружок! Ты сообрази, сегодня будут судить не меня, Петьку Анисимова. Сегодня через меня да через Волкова будут судить всех рабочих. Судьи наши ума в заграничных университетах набирались. Мы с тобою для них — «пьяная морда». Ты представляешь, дружок, какое слово мне надо держать сегодня, чтобы ни у кого из них не повернулся язык олухами нас обозвать! А ты мне водку принес.

Вернулся Моисеенко в арестантскую, а там адвокаты: один — Шубинский, другой — молодой, с иголочки одетый, вместо Плевако. Фамилия ему Холщевников. Шубинский все охает:

— Как это плохо, что Плевако отказался вести ваше дело.

— За нас хорошо заступиться — себе беды нажить.хлопочите не хлопочите,— усмехается Анисимыч,— а ссылки нам все равно не миновать, даже если оправдают. Нам, господа адвокаты, суд этот важен не ради спасения шкуры, нам нужно Морозова перед людьми выставить, чтоб за его седыми кудрями, за благолепием разглядели в нем волка.

Наконец повели в зал суда. В зале тесно, проходы заняты. Публика отборная, нарядная: для нее суд — представление. Рабочие — в задних рядах: обычная картина. И вдруг — движение по залу. Поглядел Анисимыч, а это все из рабочих встали и поясно подсудимым поклонились. У Анисимыча аж горло слезой перехватило. Поклонился и он в ответ, и Вол-

ков, и Лифанов. Тут привели остальных тридцать человек, которые до суда на свободе были.

Пошла судебная процедура.

Первым из свидетелей допрашивался следователь Баскарев.

«Хотят сразу к ногтю.— Моисеенко напряженно вглядывался в тонкое, женственное лицо свидетеля.— Красавец писанный, мерзавец».

— Я буду давать показания,— говорит Баскарев, волнуясь, прикрывая пушистыми веками печальные темные глаза,— не как следователь... Как следователю мне пришлось первому приехать на фабрику. Я буду говорить как свидетель того, что видел и знаю...

«И волнуется-то неестественно.— Моисеенко зол.— Спокойнее, браток,— говорит он себе,— спокойнее. Сегодня ты еще всякого наслушаешься».

— Я увидел картину народного гнева, стихийного, не поддающегося описанию.— У господина следователя голос срывается.— Здесь сидят на скамье подсудимых Моисеенко и Волков как руководители стачки. А я скажу, что эти руководители не разрушали, а защищали от разрушения. Они уговаривали народ не трогать хозяйского добра. Но накопившаяся злоба народа за гнет и попрание всяких человеческих прав фабрикантом сделала то, что мы теперь видим.

«Вот это да! — Моисеенко невольно поскреб затылок.— Я-то его мерзавцем обозвал, а он вон как! За нас».

— Нужно удивляться не тому, что произошло,— быстро и точно рассказав о положении на фабрике, заканчивал свои показания Баскарев,— а тому нужно удивляться, как это мог народ терпеть до сего времени.

Председатель суда предлагает сторонам задавать вопросы. — У меня есть! — говорит Моисеенко.

Все взоры к нему. У дамочек — бинокли. Этот маленький человечек — главное действующее лицо. Моисеенко не торопится с вопросом. Прежде чем спросить, отирает ладонью рот, облакачивается на барьер, все это размягченно, и вдруг как бы вонзает прямой взгляд в свидетеля — от такого взгляда или правду сказать, или отвернуться.

— Известно ли свидетелю, что фабрика Тимофея Морозова находится в чересполосном владении с фабрикой Викулы Морозова? Были ли какие-либо разрушения у Викулы? — Голос спокойный, ясный, ровный.

— Прошу меня извинить.— Баскарев делает легкий поклон в сторону спрашивающего.— Я действительно упустил из вида тот факт, что у Викулы Морозова не было тронута, что называется, ни одной щепки. Я просто поражался таким отношением народа к чужому добру.

Вызывается директор Дианов.

— На наших фабриках условия, видимо, хороши. Я ска- зал «видимо». А на самом деле они просто хороши. Если Тимофей Саввич плохо печется о рабочих, то кто же хорошо? У нас великолепные общежития, у нас баня, больница, школа, библиотека... А рабочим все мало. Все мало! Если у нас плохо, так почему же на нашу фабрику стремятся люди буквально со всех губерний России?.. Да, Тимофей Саввич строг. Он поставил великую задачу — вывести русскую промышленность на мировой рынок. Мы с гордостью нынче говорим: товары Никольской мануфактуры выдерживают любую конкуренцию. Для такой задачи, господа, качество продукции, вы отлично понимаете,— основа основ. Штрафы — бич лентяев. Русского лентяйства! Для талантливых людей на нашей фабрике дорога открыта. Я сам пришел к Морозовым мальчиком в контору, а ныне — директор.

У защитника Шубинского вопрос:

— Быть может, свидетель компаньон фабриканта?

— Да.

— Скажите, кем было дано распоряжение поставить у дверей стражу седьмого января?

— Стража была поставлена потому, что нам было сказано одним из рабочих, что ткачи хотят забастовать, что у них договор — остановить рабочих и не пускать на фабрику.

— А для чего стража ваша была вооружена?

— Боялись, что рабочие учинят бунт.

— Значит, вы хотели помешать рабочим собраться?

— Да.

— У меня все.— Защитник сел.

— Позвольте мне вопрос? — Опять Моисеенко.— По чьему распоряжению писались штрафы?

— Это зависело от хозяина.

— Вы тоже компаньон, без вашего согласия хозяин один не мог этого сделать.

— Ему было предоставлено право.

— И вы его утверждали?

— Мы делали то, что находили нужным.

— Значит, вы находили нужным грабить ваших рабочих?

Председатель вскочил:

— Прекратите! Я делаю вам замечание.

— Но я хочу получить ответ на свой вопрос.

— Прекрати-те!

— Хорошо. У меня другой вопрос. Знали вы ткача Гаврилу Чирьева, у которого машиной оторвало руку?

— Он был пьяница.

— Значит, вы знали Чирьева. А не скажете ли вы, почему утопилась его жена?

— Прекратите! — говорит председатель. — Вопросы не имеют отношения к делу.

— Имеют. Она утопилась потому, что устала от вечной нужды, хотя всю жизнь работала сама и муж ее тоже всю жизнь работал. Они оба были ткачами.

Дианов развел руками:

— Тимофей Саввич богат, но он не может отвечать за всеобщую российскую нужду.

— Я спрашиваю вас, — голос у Моисеенко зазвенел, — виноват ли Морозов в том, что довел женщину, мать многих детей, до самоубийства?

— Прекратите! Я выведу вас! — кричит председатель.

Объявляется перерыв.

В публике аплодисменты. Публике нравятся скандалы.

* * *

В перерыве адвокат Шубинский подошел к следователю Баскареву.

— Уважаемый Павел Андреевич! Я от всего сердца благодарен вам за ваш благороднейший поступок... Нет, не возражайте. Благороднейший. Вы так облегчили защиту. Вот посмотрите, что я буду говорить в своей речи. Я на вас и в речи своей, как на фундамент, опираюсь.

Шубинский подал листочек, через плечо Павла Андреевича показал, какое место нужно прочитать, и сам же шепотом зачитал:

— «Но где же данные, решающие вопрос о чрезмерной тяготе налагавшихся на фабрике Морозова штрафов? Они собраны в прекрасных таблицах, составленных и приложенных к настоящему делу судебным следователем г. Баскаревым. Таблицы эти говорят нам, что штрафы с 1881 года к 1884 году

возросли на 155 процентов и что они простирались от пяти до сорока процентов заработка». Ну и так далее. Я вас несколько раз поминаю, и всякий раз добрым словом... Знаете, что я буду просить у суда? — Прозвенел звонок, и Шубинский торопливо складывал листочки. — Я буду просить оправдания для всех без исключения. И вы мне очень помогли.

II

Четвертый день идет суд.

Дал свои показания Лука Иванов. На процессе он свидетель. Отсидел в тюрьме десять месяцев и был отпущен за отсутствием улик.

Прокурор при допросе поднимает вопрос о переписке подсудимого Моисеенко и свидетеля Иванова с Аппельбергом и другими революционерами, отбывающими ссылку в Сибири.

Защита отклоняет эти нападки как не имеющие отношения к делу.

Тогда прокурор предъявляет суду перехваченную в тюрьме записку. Ее написал Моисеенко для передачи Луке Иванову: «Давай писать газету «Голос заключенных», все, что узнаешь, пиши, и я буду писать... И тут будет бунт, а мы постараемся раздуть, я уже кое-что начал...»

— Против хорошего не бунтуют! — дает ответ Моисеенко. — Арестантские щи — хоть руки полощи. В тюрьме кормят такими помоями, если на собаку плеснуть, за тридевять земель убежит. Посмотрите на моего товарища Волкова. У него в тюрьме развился туберкулез, но он не получает никакой медицинской помощи.

Прокурор дает попятный: опасная тема. Спешит вызвать очередного свидетеля, лишь бы Моисеенко помалкивал.

...Дианов, столкнувшись в перерыве с братом Моисеенко, спросил:

— Твой брат из студентов? Где он учился?

— Нигде.

— Не верю. И Лука этот тоже из студентов.

...Перед лицом суда мастер Шорин. Бледный, испитой, с пачкой документов. От себя он ничего почти не говорит. Он читает письма Морозова, его телеграммы, распоряжения, разносы. И вся эта пачка бумаг об одном: Тимофей Саввич требует штрафов. Думайте, изощряйтесь, применяйте силу, но возьмите у рабочего часть заработка.

— У вас, конечно, будут вопросы? — говорит председатель Моисеенко, хоть так, насмешкой, смягчить силу возмутительных по откровенности спрашиваний.

— Да. Будет вопрос.— Моисеенко понимает шутку, улыбается.— Один.— И кивает в сторону Шорина: — Почему разгромили вашу квартиру, а не другого кого?

— Но все думали, что я своевольно пишу штрафы! — кричит Шорин и потрясает бумагами.

Моисеенко ищет глазами Луку. Лука незаметно для других показывает большой палец.

Допрашивают очередного свидетеля. Свидетель называет Моисеенко «бунтарем», но Петр Анисимыч весь в себе. Нужно передохнуть перед показаниями Тимофея Саввича.

Вызывают свидетелей от рабочих. Те рассказывают о штрафах. Один, второй, третий. В зале несколько дремотных минут. Слушают плохо. Публика утомилась, судьи тоже. Пора!

— Прошу вызвать свидетеля Морозова! — гремит голос Моисеенко, сон, как стекло от камня, — вдрызг.— Пусть господин Морозов объяснит, за что писали штрафы.

Старика не узнать. Волосы на две стороны, прилизаны, согнулся, ногами шаркает. Глаза какие-то маленькие, бегают, поддержки ищут.

— Что я должен говорить? — спрашивает у председателя.

— Повторите вопрос,— обращается председатель к Моисеенко.

— Скажите, пожалуйста, за что писались штрафы?

Морозов напряженно следит за губами Моисеенко, словно оглох.

— Штрафы писались за порчу.

— Покажите господину Морозову расчетные книжки,— просит Моисеенко.

Подают книжки.

— Объясните вот эту запись,— требует защитник Шубинский.— Штраф пятьдесят копеек. И буква «Б».

У Морозова дрожат руки. Берет книжку. Потом возвращает. Достает очки. Опять берет книжку.

— Пятьдесят копеек. «Б»... Действительно... Видимо... Думаю, что... Это, видимо, бездельничал.

«Вот это да! — удивляется про себя Моисеенко.— Хозяин не знал своей же азбуки: «Б» — близна, «К» — кромка, «Н» — недосека».

Председатель затевает с защитой перепалку, выгораживает

фабриканта, но за дело взялся Холщевников. Вцепился, как клещ. В книжках много штрафов вообще без всяких букв.

Тимофей Саввич красный как рак. Перебирает предлагаемые ему книжки, чешет затылок, вздыхает, поднимает глаза к потолку. Седовласый школьник. В зале смешки.

— Прошу на время освободить меня от дачи показаний, — выдавливает он из себя.

Просьбу тотчас уважили.

Тимофей Саввич семенит по залу, все взоры на него. Grimасы презрения — как же, поверженный кумир. Grimасы сожаления. А у рабочих улыбки до ушей. Скорее бы сесть и слиться с залом. Свободное место. Взявшись за ручки кресла, стал опускаться, опасаясь за свой радикулит, глянул на соседку, а это — Сазоновна. Жена заводилы. Ему ее показали. Тимофей Саввич подскочил, шарахнулся в сторону, а ботинки на коже, поехали по паркету. Взмахнул руками, пытаюсь устоять. Тело грузное — развернуло, и хлопнулось его степенство перед Сазоновной на колени. Хохот — как кнутом. Вскочил — и через зал! Бегом! Через весь этот хохот, как сквозь строй.

Новый жандармский полковник Николай Ираклиевич Воронов, назначенный во Владимир вместо старика Фоминцына, при котором случился бунт у Морозова, человек подтянутый во всех отношениях: живота никакого, никаких лишних подборок или кудрей, в мыслях не только без вольностей, но и без цинизма, обычного для деятелей, знающих больше, чем положено знать обычным людям, — так вот, Николай Ираклиевич, словно самых прекрасных кровей гончая, влетел в кабинет председателя окружного суда и сделал перед хозяином, губернатором Судненко, как бы собачью стойку.

— Николай Ираклиевич, вы сегодня что-то беспокойны, — удивился губернатор. — Бога ради, выпейте чаю и съешьте пирожок. Моя жена сама готовила. Очень вкусно... Хлопот сегодня, конечно, много будет. Тридцать три подсудимых под стражей да семьдесят два под надзором. Думаю, что присяжные немало из них подвергнут аресту. Владимирская тюрьма — битком, придется одних — в Покров, других — в Ковров. Бумага из Петербурга пришла. Трех лиц из группы приказано передать в ваше ведомство: Петра Моисеенко, Волкова Василия и Луку, как его там...

— Я слышал, простите меня, что перебиваю, — прерываю-

щимся шепотом доложил полковник,— присяжные собираются оправдать всех без исключения.

Губернатор лениво засмеялся:

— Уж вы скажете! Такой факт, как нападение на полковника Кобордо, безнаказанным остаться не может.

Полковник Воронов поджал губы и отошел в сторону.

— Все, что мне сказано, верно. Вы в этом скоро убедитесь,— шепнул он Кобордо.

— Вы о чем это? — спросил губернатор.

— Мне отвратителен этот наглый грубиян Моисеенко. Он своими вопросами прямо-таки оскорблял свидетелей, при полном попустительстве суда,— отчеканил Кобордо.

— Да, груб,— согласился Судиенко,— но, знаете, в нем что-то есть. Всю жизнь на фабриках, а, однако ж, перед Морозовым не сробел... Бедный Тимофей Саввич! Упал... Под общий смех... Ужасно! Этак весь престиж можно растерять.

Позвонили.

— Господа, пожалуйста в зал суда.

И вот они стояли лицом к лицу, обвинители и обвиняемые. Председатель суда, порывшись в бумагах, торопливо объявил:

— Присяжные на сто один вопрос обвинения ответили: «Нет, не виновны. Действовали в свою защиту».

И опять единая масса зала распалась на людей. И все увидели Моисеенко, маленького, нахохленного человека, улыбавшегося во весь широкий щербатый рот через головы чистой публики своим фабричным.

— Анисимыч! — взревели задние ряды.

— Э-эх! — И кто-то из рабочих пустил, как бумеранг, свою кепку.

К Моисеенко кинулись газетчики. Полетели цветы.

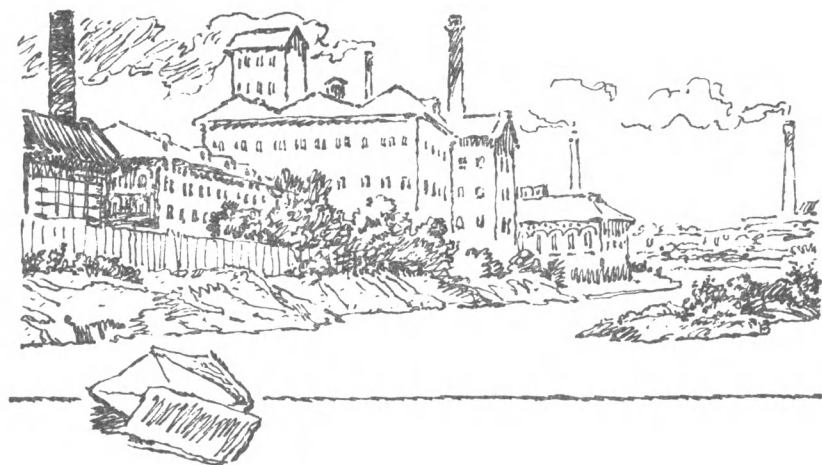
Но председатель настойчиво звонит в колокольчик. Суд еще не закончен. Еще одно совещание.

Моисеенко подсаживается к Волкову:

— Василий, ты поспокойнее будь. Это против нас затевают. Ты уж держись. Не зря ведь пострадаем. Не нас с тобою здесь судили, а самого черта, Морозова.

Суд возвращается. Вид у председателя довольный.

— Вынесено решение: Моисеенко и Волкова оставить под стражей. Остальных освободить.



ЭПИЛОГ

I

Усаживаясь в свое рабочее кресло, государь зацепился мундиром за угол стола и выругался, а усевшись, выругался еще злее.

Отчеты губернаторов — горою, гора — укор.

Потянулся к фолиантам, взял верхний том. Из Средней Азии доносили, что хлопок растет прекрасно, и если расширить посевные площади, то со временем вывоз хлопка из Англии можно будет прекратить.

В 84 году засевали всего триста десятин, в 85-м — тысячу, а в 86-м засеяно уже двенадцать тысяч.

— Опять текстильная проблема! К черту! Эти остолопы позволили оправдать стачечников.

Покойная жизнь наступила? Неужели не понимают: дай поблажку — и нигилизм пойдет прорасти, как сорная трава. Нигилизм живуч.

Тело покрывается холодным потом.

Это случилось, могло случиться всего два месяца назад, 13 марта. Он возвращался с ежегодной панихиды по Алексан-

дру I в Петропавловском соборе. На обратном пути в Гатчину ему на станции доложили: «Готовилось покушение на вашу жизнь. Враги вашего величества арестованы».

И опять перед глазами мучительное видение: кровь, развороченное взрывом человеческое тело. «Не прикажете ли, ваше высочество, продлить на час жизнь его величества?»

«Бедный отец! В 66-м в него стрелял Каракозов. Потом в Париже — Березовский, поляк. Потом Соловьев — пять раз. Отец петлял как заяц. Потом взорвали поезд, слава богу, не тот, со свитой. Потом сделали взрыв в Зимнем дворце.

И отец все это терпел и, наконец, был убит.

Что ж, господа, вы достигли того, чего желали! Хотелось новых времен. Новое время явилось: Шлиссельбург построен и открыл для вас свои двери».

— Я не Александр Второй, я Александр Третий.

Он выскочил из-за стола, вытянул из-под кровати пятипудовую гирию, выжал одной рукой.

«Что же нужно еще сделать?» — спрашивает он себя, стоя перед зеркалом. На него из зеркала смотрит усталый человек, с залысинами, с мешками под глазами.

Издан рескрипт о дворянстве. Подтверждено: сословие дворян остается главной опорой самодержавия.

Отмена крепостного права, по мнению Александра III, повредила России, но старого не вернешь. Чего он мог, так это начертать на докладе о праздновании 25-летия со дня отмены крепостного права: «Никаких 25-летних юбилеев я не признаю и праздновать особенным образом запрещаю».

На следующий день Дурново поспешил разослать циркуляр: «Я — управляющий министерством внутренних дел, признаю необходимым воспретить печатание не только никаких рассуждений, но даже известий, касающихся предстоящего дня 25-летия освобождения крестьян».

«Что же нужно еще для укрепления власти и порядка в стране? Подачка рабочим сделана. 3 июня принят новый закон о найме рабочих... Но всего этого мало, нужна цепочка мероприятий по удушению не только самого нигилизма, но даже духа его».

Александр просматривает экстракты из газет.

«Вчера в старом богоспасаемом граде Владимире раздался сто один салютный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса... С народными массами шутить опасно» — так пишет возмущенный судом присяжных и самой морозов-

ской стачкой редактор и хозяин «Московских ведомостей» Катков.

«Процесс (судебный) вызвал к себе огромный интерес в России, где он, несомненно, явится исходным пунктом нового фазиса рабочего движения» — так пишут в зарубежном журнале «Социалист».

— Нет, нигилизм не умер!

Государь берет очередное послание обер-прокурора Святейшего Синода, своего учителя Победоносцева:

«В Российском государстве не может быть отдельных властей, не зависимых от центральной власти государственной. Необходимо дать председателю безусловное право устранять публичность по некоторым делам и умножить разряды дел, по закону производимых в закрытом заседании».

Необходимо принять решительные меры к обузданию и ограничению адвокатского произвола... Давно уже пора принять меры против этого сословия, которое всюду, где ни распространялось, представляло величайшую опасность для государственного порядка...

Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось для России совершенно ложным, совсем несообразным с условиями нашего быта и с устройством наших судов... От этого учреждения необходимо нам отделаться...»

Стачечников оправдал суд присяжных. Если этот суд вреден государству, зачем он? «Запретить» — мчится по бумаге синий карандаш императора.

II

В Москве на Земляном валу, в переулке Трех святителей, в доме под золотой крышей — обморочная тишина.

Не слышать хозяев, не видеть слуг.

Тимофей Саввич закрылся в своем дубовом кабинете. Не отворяет ни слугам, ни детям, ни самой Марии Федоровне.

Он сидит в кресле за столом, а на столе — вся коллекция замшелых бутылок.

В полночь стена с книгами раздвинулась, и в кабинет вошла Мария Федоровна. Тимофей Саввич сидит впотьмах.

— Ты знала и эту мою тайну, — усмехается он. — Ты все знаешь, чего же тогда боишься? Я старообрядец, я не посмею убить себя.

— Принесла тебе чаю, Тимофей Саввич.

— Чаю можно. Я всю коллекцию... того. Без всякого наслаждения.

— Голубчик ты мой! Ну чего ты, все уже позади.

— Э, не-ет! Того, что пережил я, с избытком хватит на всю оставшуюся жизнь. Я... перед ними... на коленях! О господи, как я ненавижу этот рабочий скот! До ломоты в зубах ненавижу!

— Но ведь... все кончилось. Убытки давно перекрыты прибылью. За дело, дружок мой! За дело. Оно излечит.

— Нет! — вскакивает на ноги Тимофей Саввич. — Никогда! Я все решил. Я продаю мои фабрики. Все продаю. Все дело. Будем жить на проценты с ценных бумаг.

Мария Федоровна ставит кресло перед столом, садится удобно, надолго.

— Ты подумал о дочерях? Тимофей Саввич, у нас четыре дочери, и все они замужем за шелкоперами, все они без капиталов и хороших видов на будущее. У нас, Тимофей Саввич, два сына, и один из них неизлечимо болен.

— Я от своего слова не отступлюсь. Отныне фабрика не мое дело.

— Но чье же? Сергей не может, Савва в Англии, и он ведь очень молод.

— Я повторяю: мануфактуру нужно продать.

— Нет!

В голосе Марии Федоровны такая власть, что Тимофей Саввич закрывает лицо руками.

— Оставь меня. Я ничего не хочу знать и ничего делать не буду. Я старый человек.

— Хорошо. Дай мне слово, что не наделаешь глупостей. У тебя в столе револьвер.

Он открыл стол, достал револьвер, положил возле чернильницы. Она взяла.

— Я сегодня же телеграммой вызову Савву.

Тимофей Саввич промолчал.

Ответ Саввы Тимофеевича был короток:

«Мануфактуру возьму на себя при одном условии: никто не должен вмешиваться в мои дела».

Мария Федоровна ответила:

«Согласна».

III

Запущенный, забытый богом, царем и властями городок Белозерск.

Ноябрьское небо до того отяжелело от влаги, что уже не в силах тащить груз облаков, и улеглось на землю. Сыро, скучно и горько.

Волков выкашливает легкие в Вологде, впрочем, теперь, наверное, уже в пути, его гонят в Усть-Сысольск.

Сазоновна по пути в Кириллов сбила ноги, не может идти, а здесь, в Белозерске, только дневка. С утра в путь. До Архангельска не менее пятидесяти дней ходьбы. Вот-вот грянет зима.

Вдруг к арестантам прибежал молоденький розовощекий тюремный доктор:

— Вы ткач? Моисеенко? Вы действительно Моисеенко? — и зарделся. — Я приказал дать вам и вашей жене подводу для проезда. Простите, что не сразу распознал.

Вечером доктор прислал ужин и два рубля денег.

«Вон куда весть дошла!» — подумал Моисеенко и весело подтолкнул Сазоновну:

— Не пропадем! Люди не дадут пропасть, коли знают, что ты за других пострадал. На Руси нас, страдальцев за чужую беду, испокон века любят.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Коронация	5
Тимофей Саввич и другие	19
Новая фамилия	26
Разбойник Чуркин	46
Будни	71
Праздник	86
С фабрики на фабрику	95
Подготовка	104
«На песках»	121
Наших бьют!	127
«Какие облегчения еще?»	143
Смех	155
Хождение Петра Анисимыча	166
Суд	175
Эпилог	187

Для старшего возраста

Владислав Анатольевич Бахревский

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА

Историческая повесть

ИБ № 3353

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*. Художественный редактор *О. К. Кондакова*. Технические редакторы *Л. С. Стёпина* и *Н. Д. Лаукус*. Корректоры *Г. В. Русакова* и *Е. И. Щербак*. Сдано в набор 1/VIII 1978 г. Подписано к печати 15/I 1979 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 10,77. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3102. Цена 50 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер. 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»